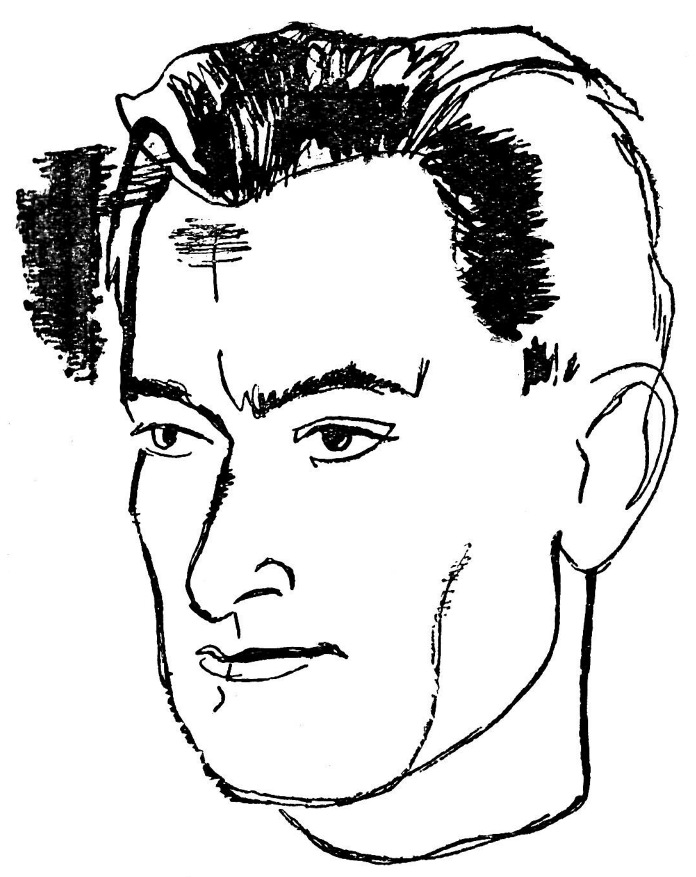
ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИЛЬЕ
ИЛЬФЕ
И
ЕВГЕНИИ
ПЕТРОВЕ

ОБ ИЛЬФЕ И ЕВГ. ПЕТРОВЕ

Советский писа-тель 1963
Москва

ВОСПОМИНАНИЯ

об Илье Ильфе



и Евгении Петрове

СБОРНИК

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ
об И. Ильфе и Е. Петрове

М., «Советский писатель», 1963,
336 стр.

Редактор В. Д. Острогорская

Художник Д. С. Громан
Худож редактор Д. С. Мухин
Техн. редактор З. Г. Игнатова
Корректоры И. Ф. Сологуб
и Л. К. Фарисеева

Сдано в набор 23/VIII 1962 г. Подписано в печать 15/III 1963 г. А 09150. Бумага 70×100 1/32. Печ.л. 10 1/2 (14,38). Уч.-изд. л. 13,50. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 1278. Цена 47 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Типография № 4 Ленсовнархоза,
Ленинград, Социалистическая, 14

СОСТАВИТЕЛИ Г. МУНБЛИТ, А. РАСКИН

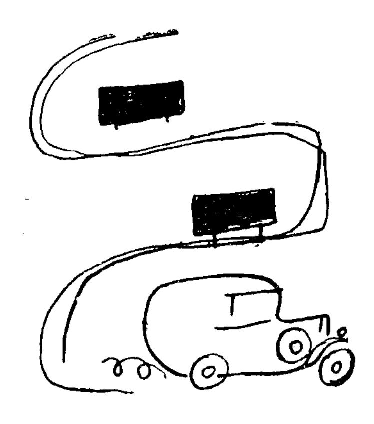
От авторов

В 1962 году исполнилось двадцать пять лет со дня смерти Ильи Арнольдовича Ильфа и двадцать лет со дня смерти Евгения Петровича Петрова.

Очень много людей во всем мире читают и любят их книги и, как это всегда бывает, хотели бы знать об авторах—какими они были, как работали, с кем дружили, как начинали свой писательский путь.

Мы попытались в меру наших сил ответить на эти вопросы, рассказав об Ильфе и Петрове все, что о них знали.

Светлой памяти наших друзей посвящаем мы эту книгу.



ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ •

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИЛЬФЕ

1

Однажды, во время путешествия по Америке, мы с Ильфом поссорились.

Произошло это в штате Нью-Мексико, в маленьком городе Галлопе, вечером того самого дня, глава о котором в нашей книге «Одноэтажная Америка» называется «День несчастий».

Мы перевалили Скалистые горы и были сильно утомлены. А тут еще предстояло сесть за пишущую машинку и писать фельетон для «Правды».

Мы сидели в скучном номере гостиницы, недовольно прислушиваясь к свисткам и колокольному звону маневровых паровозов (в Америке железнодорожные пути

часто проходят через город, а к паровозам бывают прикреплены колокола). Мы молчали. Лишь изредка один из нас говорил: «Ну?»

Машинка была раскрыта, в каретку вставлен лист бумаги, но дело не двигалось.

Собственно говоря, это происходило регулярно в течение всей нашей десятилетней литературной работы — трудней всего было написать первую строчку. Это были мучительные дни. Мы нервничали, сердились, понукали друг друга, потом замолкали на целые часы, не в силах выдавить ни слова, потом вдруг принимались оживленно болтать о чем-нибудь не имеющем никакого отношения к нашей теме,— например, о Лиге Наций или о плохой работе Союза писателей. Потом замолкали снова. Мы казались себе самыми гадкими лентяями, какие только могут существовать на свете. Мы казались себе беспредельно бездарными и глупыми. Нам противно было смотреть друг на друга.

И обычно, когда такое мучительное состояние достигало предела, вдруг появлялась первая строчка — самая обыкновенная, ничем не замечательная строчка. Ее произносил один из нас довольно неуверенно. Другой с кислым видом исправлял ее немного. Строчку записывали. И тотчас же все мучения кончались. Мы знали по опыту — если есть первая фраза, дело пойдет.

Но вот в городе Галлопе, штат Нью-Мексико, дело никак не двигалось вперед. Первая строчка не рождалась. И мы поссорились.

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криком, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли

сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго — часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же — нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, только потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса.

И вечер в городе Галлопе, начавшийся так ужасно, окончился задушевнейшим разговором.

Это был самый откровенный разговор за долгие годы нашей никогда и ничем не омрачившейся дружбы. Каждый из нас выложил другому все свои самые тайные мысли и чувства.

Уже очень давно, примерно к концу работы над «Двенадцатью стульями», мы стали замечать, что иногда произносим какое-нибудь слово или фразу одновременно. Обычно мы отказывались от такого слова и принимались искать другое.

— Если слово пришло в голову одновременно двум,— говорил Ильф,— значит, оно может прийти в голову трем и четырем,— значит, оно слишком близко лежало. Не ленитесь, Женя, давайте поищем другое. Это трудно. Но кто сказал, что сочинять художественные произведения легкое дело?

Как-то, по просьбе одной редакции, мы сочинили юмористическую автобиографию, в которой было много правды. Вот она:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой еврей (загадочная еврейская душа).

Итак, работать нам трудно.

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол.

Казалось бы, все хорошо: стол накрыт газетой, чтобы не пачкать скатерти, чернильница полна до краев, за стеной одним пальцем выстукивают на рояле «О, эти черные», голубь смотрит в окно, повестки на разные заседания разорваны и выброшены. Одним словом, все в порядке, сиди и сочиняй.

Но тут начинается.

Тогда как один из авторов полон творческой бодрости и горит желанием подарить человечеству новое художественное произведение, как говорится, широкое полотно, другой (о, загадочная славянская душа!) лежит на диване, задрав ножки, и читает историю морских сражений. При этом он заявляет, что тяжело (по всей вероятности, смертельно) болен.

Бывает и иначе.

Славянская душа вдруг подымается с одра болезни и говорит, что никогда еще не чувствовала в себе такого творческого подъема. Она готова работать всю ночь напролет. Пусть звонит телефон — не отвечать, пусть ломятся в дверь гости — вон! Писать, только писать. Будем

прилежны и пылки, будем бережно обращаться с подлежащим, будем лелеять сказуемое, будем нежны к людям и строги к себе.

Но другой соавтор (о, загадочная еврейская душа!) работать не хочет, не может. У него, видите ли, нет сейчас вдохновения. Надо подождать. И вообще, он хочет ехать на Дальний Восток с целью расширения своих горизонтов.

Пока убедишь его не делать этого поспешного шага, проходит несколько дней. Трудно, очень трудно.

Один — здоров, другой — болен. Больной выздоровел, здоровый ушел в театр. Здоровый вернулся из театра, а больной, оказывается, устроил небольшой разворот для друзей, холодный бал с закусочкой а-ля-фуршет. Но вот наконец прием окончился, и можно было бы приступить к работе. Но тут у здорового вырвали зуб, и он сделался больным. При этом он так неистово страдает, будто у него вырвали не зуб, а ногу. Это не мешает ему, однако, дочитывать историю морских сражений.

Совершенно непонятно, как это мы пишем вдвоем».

Действительно. Сочинять вдвоем было не вдвое легче, как это могло бы показаться в результате простого арифметического сложения, а в десять раз труднее. Это было не простое сложение сил, а непрерывная борьба двух сил, борьба изнурительная и в то же время плодотворная. Мы отдавали друг другу весь свой жизненный опыт, свой литературный вкус, весь запас мыслей и наблюдений. Но отдавали с борьбой. В этой борьбе жизненный опыт подвергался сомнению. Литературный вкус иногда осмеивался, мысли признавались глупыми, а наблюдения поверхностными. Мы беспрерывно подвергали друг друга жесточайшей критике, тем более обидной, что преподносилась она

в юмористической форме. За письменным столом мы забывали о жалости.

Со временем мы все чаще стали ловить себя на том, что произносим одно и то же слово одновременно. И часто это было действительно хорошее, нужное слово, которое лежало не близко, а далеко. И хотя оно было произнесено двумя, но едва ли могло прийти в голову еще трем или четырем. Так выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние. И вот о нем мы говорили вечером в городе Галлопе, штат Нью-Мексико.

Мы признались друг другу, что испытываем одно и то же чувство неуверенности в собственных силах. Сможет ли один из нас написать хотя бы одну строчку самостоятельно? Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу — «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь — двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу. Мы убедились, что наши страхи были напрасны.

Но тогда, в Галлопе, мы были откровенны и нежны и очень встревожены.

Я не помню, кто из нас произнес эту фразу:

— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать.

А через три недели, жарким и светлым январским

днем, мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана, рассматривая странные могилы, расположенные в два или три этажа над землей. Ильф был очень бледен и задумчив. Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

— Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять, как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите?

Он кашлянул и показал мне платок.

Через год и три месяца, 13 апреля 1937 года, в десять часов тридцать пять минут вечера Ильф умер.

2

И вот я сижу один против пишущей машинки, на которой Ильф в последний год своей жизни напечатал удивительные записки. В комнате тихо и пусто, и надо писать. И в первый раз после привычного слова «мы» я пишу пустое и холодное слово «я» и вспоминаю нашу молодость.

Как это было?

Мы оба родились и выросли в Одессе, а познакомились в Москве.

В 1923 году Москва была грязным, запущенным и беспорядочным городом. В конце сентября прошел первый осенний дождь, и на булыжных мостовых грязь держалась до заморозков. В Охотном ряду и в Обжорном ряду

торговали частники. С грохотом проезжали ломовики. Валялось сено. Иногда раздавался милицейский свисток, и беспатентные торговцы, толкая пешеходов корзинами и лотками, медленно и нахально разбегались по переулкам. Москвичи смотрели на них с отвращением. Противно, когда по улице бежит взрослый, бородатый человек с красным лицом и вытаращенными глазами. Возле асфальтовых котлов сидели беспризорные дети. У обочин стояли извозчики — странные экипажи с очень высокими колесами и узеньким сиденьем, на котором еле помещались два человека. Московские извозчики были похожи на птеродактилей с потрескавшимися кожаными крыльями — существа допотопные и к тому же пьяные. В том году милиционерам выдали новую форму — черные шинели и шапки пирожком из серого искусственного барашка, с красным суконным верхом. Милиционеры очень гордились новой формой. Но еще больше гордились они красными палочками, которые были им выданы для того, чтобы дирижировать далеко не оживленным уличным движением.

Москва отъедалась после голодных лет. Вместо старого, разрушенного быта создавался новый. В Москву понаехало множество провинциальных людей для того, чтобы завоевать великий город. Днем они толпились возле биржи труда. Ночевали они на вокзалах и бульварах. А наиболее счастливые из завоевателей устраивались у родственников и знакомых. Сумрачные коридоры больших московских квартир были переполнены спящими на сундуках провинциальными родственниками.

Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в кори-

доре у знакомых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половинкой окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. Там помещался матрац на четырех кирпичах и стул. Потом, когда Ильф женился, ко всему этому был добавлен еще и примус. Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе «Двенадцать стульев», в главе «Общежитие имени монаха Бертольда Шварца».

Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти. Не помню я и характера ильфовской фразы, его голоса, интонаций, манеры разговаривать. Я вижу его лицо, но не могу услышать его голоса.

Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У окна стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатишестилетний человек в пенсне с маленькими голыми толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно — «Под суд!»

В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадающий в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники

остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы — бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

3

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и, хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим метром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг. Но у нас был еще один метр, так сказать, профессиональный метр. Это был мой брат, Валентин Катаев. Он в то время тоже работал в «Гудке» в качестве фельетониста и подписывался псевдонимом «Старик Собакин». И в этом качестве он часто появлялся в комнате четвертой полосы.

Однажды он вошел туда со словами:

— Я хочу стать советским Дюма-отцом.

Это высокомерное заявление не вызвало в отделе особенного энтузиазма. И не с такими заявлениями входили люди в комнату четвертой полосы.

— Почему же это, Валюн, вы вдруг захотели стать Дюма-пером? — спросил Ильф.

— Потому, Илюша, что уже давно пора открыть мастерскую советского романа,— ответил Старик Собакин,— я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Пройдусь раза два по вашим рукописям рукой мастера — и готово. Как Дюма-пер. Ну? Кто желает? Только помните, я собираюсь держать вас в черном теле.

Мы еще немного пошутили на тему о том, как Старик Собакин будет Дюма-отцом, а мы его неграми. Потом заговорили серьезно.

— Есть отличная тема,— сказал Катаев,— стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? Есть еще темки... А? Соглашайтесь. Серьезно. Один роман пусть пишет Илья, а другой — Женя.

Он быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался «Старик Собакин» и куда-то убежал. А мы с Ильфом вышли из комнаты и стали прогуливаться по длиннейшему коридору Дворца Труда.

— Ну что, будем писать? — спросил я.

— Что ж, можно попробовать,— ответил Ильф.

— Давайте так,— сказал я,— начнем сразу. Вы — один роман, а я — другой. А сначала сделаем планы для обоих романов.

Ильф подумал.

— А может быть, будем писать вместе?

— Как это?

— Ну, просто вместе будем писать один роман. Мне понравилось про эти стулья. Молодец Собакин.

— Как же вместе? По главам, что ли?

— Да нет,— сказал Ильф,— попробуем писать вместе, одновременно каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе.

В этот день мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа. Вскоре мы остались одни в громадном пустом здании. Мы и ночные сторожа. Под потолком горела слабая лампочка. Розовая настольная бумага, покрывавшая соединенные столы, была заляпана кляксами и сплошь изрисована отчаянными остряками четвертой полосы. На стене висели грозные «Сопли и вопли».

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь. Мы составили черновой план в один вечер и на другой день показали его Катаеву. Дюма-отец план одобрил, сказал, что уезжает на юг, и потребовал, чтобы к его возвращению, через месяц, была бы готова первая часть.

— А уже тогда я пройдусь рукой мастера,— пообещал он.

Мы заныли.

— Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас,— сказал Ильф,— вот по этому плану.

— Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться.

И он уехал. А мы остались. Это было в августе или сентябре 1927 года.

И начались наши вечера в опустевшей редакции. Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не изменялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я, Ильф убедил меня, что мой почерк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя — Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди — председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи — мадам Петухова и название похоронного бюро — «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

— Давайте начнем просто и старомодно — «В уездном городе N». В конце концов, не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не

боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца Труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова.

Иногда нас охватывало отчаяние.

— Неужели наступит такой момент, когда рукопись будет наконец написана и мы будем везти ее в санках? Будет идти снег. Какое, наверно, замечательное ощущение — работа окончена, больше ничего не надо делать.

Все-таки мы окончили первую часть вовремя. Семь печатных листов были написаны в месяц. Это еще не был роман, но перед нами уже лежала рукопись, довольно толстенькая пачка больших густо исписанных листов. У нас еще никогда не было такой толстенькой пачки. Мы с удовольствием перебирали ее, нумеровали и без конца высчитывали количество печатных знаков в строке, множили эти знаки на количество строк в странице, потом множили на число страниц. Да. Мы не ошиблись. В первой части было семь листов. И каждый лист содержал в себе сорок тысяч чудных маленьких знаков, включая запятые и двоеточия.

Мы торжественно понесли рукопись Дюма-отцу, который к тому времени уже вернулся. Мы никак не могли себе представить, хорошо мы написали или плохо. Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему. Но он прочел рукопись, все семь листов прочел при нас, и очень серьезно сказал:

— Вы знаете, мне понравилось то, что вы написали. По-моему, вы совершенно сложившиеся писатели.

— А как же рука мастера? — спросил Ильф.

— Не прибедняйтесь, Илюша. Обойдетесь и без Дюмапера. Продолжайте писать сами. Я думаю, книга будет иметь успех.

Мы продолжали писать.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого биллиардиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья.

И вот в январе месяце 28-го года наступила минута, о которой мы мечтали. Перед нами лежала такая толстая рукопись, что считать печатные знаки пришлось часа два. Но как приятна была эта работа.

Мы уложили рукопись в папку.

— А вдруг мы ее потеряем? — спросил я.

Ильф встревожился.

— Знаете что, — сказал он, — сделаем надпись. — Он взял листок бумаги и написал на нем:

«Нашедшего просят вернуть по такому-то адресу».

И аккуратно наклеил листок на внутреннюю сторону обложки.

Все случилось так, как мы мечтали. Шел снег. Чинно сидя на санках, мы везли рукопись домой. Но не было ощущения свободы и легкости. Мы не чувствовали освобождения. Напротив. Мы испытывали чувство беспокойства и тревоги. Напечатают ли наш роман? Понравится ли он? А если напечатают и понравится, то, очевидно, нужно писать новый роман. Или, может быть, повесть.

Мы думали, что это конец трудов, но это было только начало.

4

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменились вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить. Покуда же мне хотелось бы написать несколько строк о записных книжках Ильфа, оставшихся нам после его смерти.

— Обязательно записывайте,— часто говорил он мне.— Все проходит, все забывается. Я понимаю — записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать. Но тогда нужно заставить себя.

Очень часто ему не удавалось заставить себя сделать это, и его очередная записная книжечка не вынималась из кармана по целым месяцам. Потом надевался другой пиджак, и когда нужно было записать что-нибудь, книжечки не было.

— Худо, худо,— говорил Ильф,— обязательно надо записывать.

Проходило еще некоторое время, и у Ильфа появлялась новенькая записная книжка. Он с удовольствием рассматривал ее, торжественно хлопал ее ладонью по картонному или клеенчатому переплетику и прятал в боковой карман с таким видом, что теперь-то уж будет вести записи каждый день и даже ночью будет просыпаться, чтобы записать что-нибудь. Некоторое время книжечка действительно вынималась довольно часто, потом наступал период охлаждения, книжечка забывалась в старом пиджаке, и, наконец, торжественно приносилась домой новая.

Однажды Ильфу после настойчивых его просьб подарили в какой-то редакции или издательстве громадную бухгалтерскую книгу с толстой блестящей бумагой, разграфленной красными и синими линиями. Эта книга ему очень нравилась. Он без конца открывал ее и закрывал, внимательно рассматривал бухгалтерские линии и говорил:

— Здесь должно быть записано все. Книга жизни. Вот тут, справа, смешные фамилии и мелкие подробности. Слева — сюжеты, идеи и мысли.

К своим увлечениям Ильф относился иронически. Он несомненно любил эту толстую книгу, как носительницу совершенно правильной идеи — все записывать. Но он знал, что все равно никогда не заставит себя записывать каждый день в течение всей своей жизни, и потому подшучивал над книгой. Постепенно увлечение прошло, и в книге появились рисунки, небрежные и резкие ильфовские рисунки, где какой-нибудь профиль, или шапочка с пером, или странный верблюд с пятнадцатью горбами («верблюд-автобус», как называл его Ильф) были повторены десятки и даже сотни раз.

После Ильфа осталось много книжечек. Некоторые из них заполнены только наполовину, некоторые — на

треть, а в некоторых записи занимают лишь две-три странички. Остальные пусты или покрыты рисунками.

В 1925 году мы еще не начали писать вместе с Ильфом, и он главным образом занимался журналистикой.

Редакция послала Ильфа в Среднюю Азию. Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал.

Разбирая записные книжки Ильфа, мы нашли заметки, касающиеся поездки в Среднюю Азию. Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины. Мельком услышанные рассказы какого-нибудь случайного попутчика, кусочек ландшафта, промелькнувший в окне вагона, цвет неба или моря, форма дерева или описание животного,— вот чему были посвящены его первые записи.

Это была, если можно так выразиться, писательская кухня.

Впоследствии, работая вместе, мы, прежде чем начать писать задуманную книгу, заготовляли на листах бумаги самые разнообразные наблюдения, сюжеты и мысли. Я уже говорил о том, что сейчас невозможно установить, кто что придумал. Но кое-что Ильф извлекал из своих записных книжек и требовал того же от меня.

Во время последнего путешествия по Америке мы купили пишущую машинку. Ильф очень увлекался ею. Ему нравился самый процесс печатания. В первый же вечер (это было в Нью-Йорке) он сел писать, вернее — печатать дневник. Он собирался делать это каждый день. Но поездка была так утомительна, что на дневник не хватало ни времени, ни сил.

Вернувшись в Москву, уже смертельно больной, Ильф

снова вернулся к этой идее и стал регулярно записывать свои наблюдения, но уже не в форме дневника, а в виде коротеньких самостоятельных записей. За последний год своей жизни он напечатал так около двух листов.

Эти заметки он делал весной 1936 года в Остафьеве и в Кореизе, затем летом на даче под Москвой, осенью — в Форосе и зимою с 1936-го на 37-й год — в Москве.

Эта последняя работа — не просто «писательская кухня». На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно.

Ильф знал, что умирает. Потому так грустны его последние записки. Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

— Вы знаете, Женя,— говорил он мне,— я принадлежу к тем людям, которые входят в двери последними.

Только в двух местах рукописи Ильф вспоминает о своей болезни:

«. . .и так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде».

«Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Это все, что он написал о себе.

ЮРИЙ ОЛЕША •

ОБ ИЛЬФЕ[1]

Ильф и Петров совершили путешествие по Соединенным Штатам Америки и написали о своем путешествии книгу под названием «Одноэтажная Америка».

Это — превосходная книга.

Она полна уважения к человеческой личности. В ней величаво восхваляется труд человека. Это книга об инженерах, о сооружениях техники, побеждающих природу.

[1] Мы включили в сборник два очерка Юрия Олеши: «Об Ильфе» и «Памяти Ильфа», написанные в разное время. Кое в чем эти очерки совпадают, в некоторых подробностях дополняют друг друга. Нам показалось правильным напечатать здесь и тот и другой.

Это книга благородная, тонкая и поэтическая. В ней необычайно ярко проявляется то новое отношение к миру, которое свойственно людям нашей страны и которое можно назвать советским духом. Это книга о богатстве природы и человеческой души. Она пронизана возмущением против капиталистического рабства и нежностью к стране социализма.

Один из авторов этого прекрасного произведения умер. Умер Ильф. Умер замечательный писатель, мастер, тонкий и мудрый человек, первоклассная величина в развитии нашей культуры. Он умер молодым, только начав входить в силу, умер живым, полным замыслов и желаний.

Я хорошо знал Ильфа и хочу поделиться с читателями воспоминаниями о нем.

Я познакомился с Ильфом в 1920 году, в Одессе. Опять, как после смерти Эдуарда Багрицкого, по печальному поводу память возвращается к прекрасным дням юности — к Одессе, ко времени, когда вся наша группа одесситов только начинала работать.

Существовал в Одессе в 1920 году «Коллектив поэтов». Это был своего рода клуб, где, собираясь ежедневно, мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве. Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьезно работали. Это была школа. Мы равнялись на Москву. Слава ее докатывалась до нас, волнующие слухи о Блоке, о Маяковском. Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наигранна. Он как бы говорил нам: я очень уважаю вас, но не думайте, что я пришел к вам не как равный к равным, и, вообще, не надо быть слишком

высокого мнения о себе — ни вам, ни мне, потому что, какими бы мы ни были замечательными людьми, есть люди гораздо более замечательные, чем мы, неизмеримо более замечательные, и не нужно поэтому заноситься.

Этот призыв к скромности и корректному пониманию собственных совершенств исходил от Ильфа всегда.

Ильф поразил всех нас и очень нам понравился.

Он прочел стихи. Стихи были странные. Рифм не было, не было размера. Стихотворение в прозе? Нет, это было более энергично и организованно. Я не помню его содержания, но помню, что оно состояло из мотивов города, и чувствовалось, что автор увлечен французской живописью и что какие-то литературные настроения Запада, неизвестные нам, ему известны. Сохранились ли эти стихи Ильфа? Уже в этих первых опытах проявилась особенность писательской манеры Ильфа — умение остро формулировать, особенность, которая впоследствии приобрела такой блеск.

Ильф был чрезвычайно сдержан и никогда не говорил о себе. Эту повадку он усвоил на всю жизнь. Он придумал себе псевдоним — Ильф. Это эксцентрическое слово получалось из комбинации начальных букв его имени и фамилии. При своем возникновении оно всех рассмешило. И самого Ильфа. Он относился к себе иронически. Это был худой юноша, с большими губами, со смеющимся взглядом, в пенсне, в кепке и, как казалось нам, рыжий. Он следил за своей внешностью. Ему нравилось быть хорошо одетым. В ту эпоху достигнуть этого было довольно трудно. Однако среди нас он выглядел европейцем. Казалось, перед ним был какой-то образец, о котором мы не знали. На нем появлялся пестрый шарф, особенные башмаки,— он становился многозначительным. В этом было много добродушия и любви к жизни. К несерьезному делу

он относился с большой серьезностью, и тут проявлялось мальчишество, говорившее о хорошей душе.

Ильф любил книги о спорте, о морских сражениях. Много зародившихся в детстве желаний он нес сквозь жизнь свежими, непотухшими.

Представлял ли он свое будущее как будущее писателя? В те годы он обнаружил уже острую наблюдательность. Обо всем он говорил метко. Порой нежнейшая лирика и грусть звучали в его словах. Он писал мало. Он как бы и не стремился к большой писательской работе. О том или ином явлении, обстоятельстве, об отдельных личностях он высказывался с бесподобным остроумием, и получалось впечатление, что большого ума и не нужно, что этой игрой вполне удовлетворяется его потребность в художественной деятельности. Он чрезмерно строго судил о себе. Произведения искусства, которые он уже в ранней юности успел выбрать в качестве образцов, успел оценить и полюбить, были так высоки, что собственные возможности представлялись ему шуточными.

В Москву Ильф приехал в 1923 году. Мы жили с ним в одной комнате. Маленькая комната при типографии «Гудка» на улице Станкевича. Мы работали в «Гудке».

Работа наша состояла в том, что мы правили рабкоровские письма. Ильф был «правщиком». Так называлась его должность по штату. Письму рабкора нужно было придать литературную форму. Ильф проявлял свое оригинальное и блестящее дарование. Заметки, выходившие из-под его пера, оказывались маленькими шедеврами. В них сверкал юмор, своеобразие стиля. Это было в полной мере художественно. Делалось это легко, изящно. Создание каждой такой заметки было веселым и захватывающим событием для всего коллектива редакции.

Менее всего можно было назвать эту работу бездушной, будничной, газетной работой,— это было творчество, мастерство, полная жизнерадостности деятельность художника, пробующего свои силы.

Против кого были направлены эти заметки?

Против бюрократов, плохих хозяйственников, подхалимов, тупиц.

Ильф как бы делал подмалевки для будущей большой картины.

В «Гудке» произошла встреча Ильфа с Евгением Петровым. Петров тоже был правщиком. Родилась идея о совместной работе над романом. И роман был написан— «Двенадцать стульев».

Все знают, какой огромный успех имел этот роман. В короткий срок два молодых автора приобрели известность в СССР и за границей.

В мою задачу не входит критический разбор книг Ильфа и Петрова.

Мне только хочется сказать, что когда близко знаешь человека, называешь его по имени, то личность его и деятельность в твоих глазах представляется порой меньшей, чем это есть на самом деле.

Какая черта была главной в душе Ильфа? Какая склонность являлась характерной для него? Чем он жил?

Я много лет прожил с ним вместе. Ильф называл себя зевакой. «Вы знаете: я — зевака! Я хожу и смотрю». Детское слово «зевака». Похожий на мальчика, вертя в разные стороны головой в кепке с большим козырьком, заглядывая, оборачиваясь, останавливаясь, ходил Ильф по Москве. Он ходил и смотрел.

В «Одноэтажной Америке» сказано о любопытстве, что это замечательное человеческое свойство.

И, вернувшись домой, Ильф рассказывал о том, что он видел. Это был не простой зевака. Он делал выводы из того, что видел, он формулировал, объяснял. Каждая формулировка была пронизана чувством. Это был журналист в самом высоком смысле этого слова, если говорить о журнализме как о деятельности, сопряженной с участием в перестройке мира.

Ильф ненавидел тупость, издевался над дураками, над организаторами нелепостей, мешающими строительству новой жизни.

Увидеть и оценить. Это было его пафосом. Восхититься, удивиться, рассказать.

Он возвращался домой и рассказывал. Несколько фраз, точнейшие и неожиданнейшие эпитеты.

Лучше всего он говорил о детях. О мальчиках. Они особенно привлекали его внимание — своими проделками, любовью к машинам, любознательностью, независимостью и важностью.

Класс журнализма Ильф показал в тех фельетонах, которые в соавторстве с Петровым он писал для «Правды».

Ценность и значение современной литературы зависит именно от наличия в ней журналистской природы. Хемингуэй и многие другие крупные современные писатели — журналисты. Интерес к технике, к политике, к дипломатии,— интерес к тем областям жизни, которые обычно привлекали журналистов,— в наши дни создает большую литературу. Все эти области захвачены борьбой между социализмом и капитализмом. От журналистского желания увидеть и объяснить рождается передовая, современная — нашего века, нашей эпохи — литература.

Я помню Ильфа юным. Внимание его было устремлено на Запад. Война тогда окончилась. После Версальского

мира Европа процветала. До нас доходили слухи о триумфах Чаплина. Всеобщим увлечением сделался джаз. Появились новые моды. Слагалась эстетика машин. Все это чрезвычайно затрагивало воображение Ильфа. Он хотел увидеть эту жизнь в кино, в иностранных фильмах.

Запад казался заманчивым. Там носили пестрые шарфы, башмаки на толстых подошвах. Запад асфальтовых дорог, автомобилизма, комфорта. Запад с могилами неизвестных солдат, с матчами, с боксером Карпантье. Как много можно было там увидеть!

Ильф побывал на Западе.

Что же увидел он и понял?

О чем с наибольшим волнением сказано в «Одноэтажной Америке»?

Об индейцах и неграх. Да, это книга об индейцах и неграх.

В Америке увидел Ильф чистоту, благородство и человечность индейцев, презираемых белыми угнетателями. Он восторженно вспоминает о том, что индейцы отказываются разговаривать с белыми. С необычайной выразительностью описана история миссионера, который, вместо того чтобы насаждать среди краснокожих христианство, сам проникся духом индейцев настолько, что остался жить среди них, перенял их обычаи — и счел это огромной удачей своей жизни.

Нельзя без гордости за ум и душу советского писателя читать такие строки:

«. . .есть в Южных штатах что-то свое, собственное, особенное, что-то удивительно милое, теплое. Природа? Может быть, отчасти и природа. Здесь нет вылощенных пальм и магнолий, начищенного солнца, как в Калифорнии. Но зато нет и сухости пустыни, которая все же чув-

ствуется там. Южные штаты — это страна сельских ландшафтов, лесов и печальных песен. Но, конечно, не в одной природе дело. Душа Южных штатов — люди. И не белые люди, а черные».

Вот что увидел Ильф в Америке. Это было последнее, что он увидел и рассказал. Такими великолепными словами окончилась его литературная деятельность.

Она окончилась очень рано, и мы чувствуем, как тяжела наша утрата.

Как жаль, что больше нет с нами Ильфа, милого Ильфа, неповторимого человека, нашего друга, спутника молодости!

Я хочу повторить слова поэта Асеева, сказанные им у гроба Ильфа: «Он из тех людей, которым можно доверить жизнь».

1937

ПАМЯТИ ИЛЬФА[1]

Ильф был моим близким приятелем. Я жил с ним в одной комнате. Эта комната была нам предоставлена редакцией газеты «Гудок», где мы оба работали. Комната была крошечная. В ней стояли две широкие так назы-

---

[1] В годовщину смерти Ильи Ильфа, в апреле 1938 года, в Московском университете состоялся вечер его памяти. Выступали В. Катаев, Евгений Петров, Лев Никулин и другие. Клуб был заполнен студенческой молодежью. Ждали выступления одного из самых близких друзей Ильфа — Юрия Олеши. Однако Юрий Карлович не смог приехать из Ленинграда и прислал мне (я работал тогда в университете) с М. М. Зощенко свою речь.

Рукопись сопровождалась извинительной запиской и одновременно просьбой прочитать ее на вечере. Я обратился

ваемые тахты — глаголем, то есть одна перпендикулярно вершине другой.

Просто — два пружинных матраца на низких витых ножках. В те годы слово «тахта» очень часто употреблялось в среде, которая хотела жить хорошо. Это был символ приобщения нашей жизни к какой-то роскоши, к какой-то стабилизации мира, отдыхавшего после войны. Этого отдыха у нас не было. О мире и процветании Европы мы отзывались презрительно. Так же презрительно, как прозрительно относились к пружинным, купленным на Сухаревке матрацам, именуемым тахтами, с презрением и вместе с тем с горечью, так как отдых не такое уже плохое дело, ведь, в конце концов, отдых не всегда достоин высмеивания, а бывает иногда и честным и заслуженным.

Я писал роман. Все я прочитывал Ильфу,— он говорил правду, что хорошо, что плохо. Прослушав одно место, он сказал «сладко», и теперь я тоже знаю, что значит сладко. Он посмеивался надо мной, но мне было приятно ощущать, что он ко мне относится серьезно и, кажется, уважает меня. Ильф сам не писал ничего. Дома для себя — насколько помню — ничего. Иногда это удивляло меня: почему он не пишет? Он лежал на тахте и думал о чем-то, вертя жесткий завиток волос на лбу. Он много думал. Что-то от обращения старшего брата с младшим было в его отношении ко мне. И, как в отношениях со старшим братом, я кое-чем делился с ним, а кое-что скрывал. Не все говорил — выбирал. Что можно сказать ему,

---

к Эммануилу Каминке, который охотно принял на себя эту почетную задачу (в этот вечер он выступал с фельетонами Ильфа и Петрова). Помню, рассказ Олеши был принят очень и очень тепло.

Недавно я перебирал свой архив и, обнаружив эту рукопись, решил, что она представит интерес для читателя.

П. Лавут

что нельзя. Что покажется ему глупым, или неинтересным, или слишком личным. Было, значит, важно, как этот человек отнесется к тебе. Пожалуй, он всегда подтрунивал, но когда он улыбался, его губы складывались в такую одобряющую улыбку, что было видно, что это очень добрый, очень снисходительно и доверчиво относящийся к людям человек. Ему очень нравилось вообще, что я пишу роман.

Мы были одесситы. Почти одновременно приехали в Москву, и он чрезвычайно серьезно относился к тому обстоятельству, что я вообще пишу, что пишет Катаев, Багрицкий, что он покамест не пишет и т. д. Повторяю, сам он много лежал и думал. Читал. Что? Очень много книг. Запомнилось, что он особенно хвалил ряд книг, описывавших сражения империалистической войны, сухопутные и морские. Очень много знал он в этой области: романтику, географию, приключения войны. Работали мы, повторяю, в «Гудке». Уже много писалось о том, как замечательна работа Ильфа-газетчика. Она проходила на моих глазах. Профиль Ильфа на фоне большого окна одной из комнат Дворца Труда я вижу явственно до сих пор.

Жизнь дается один раз, молодость есть молодость. Всегда кажется, когда проходят годы, что это еще не главная жизнь, что будет какая-то настоящая жизнь, а это все черновая. А между тем жизнь пишется только набело. Дворец Труда, его сад, кусты сирени, лестница, лаковые коридоры, выход на Солянку. . .

Все это было нашей молодостью. Москва сильно изменилась с тех пор. Я уже не могу сразу сообразить, проходит ли трамвай «А» мимо Кремлевской стены, обращенной к реке, как проходил он тогда — чудный весенний трамвай с раскрытыми окнами, как бы рассекавший

3*

волну зелени, той удивительной зелени, которая бывает весною в Москве.

Ильф любил копченую колбасу, которую ел во время чтения, нарезая аккуратными кубиками. Потом он засыпал, повернувшись к стене и положив пенсне на стол. А потом он гулял. Он очень любил прогулки и всегда после этих прогулок приносил домой необычайные рассказы о том, что видел, с кем разговаривал, о чем думал. Эти рассказы были поразительны. Иногда настолько полны воображения, яркости и мастерства, что, слушая, я даже кое-чего не слышал, так как начинал думать о самом авторе и восхищаться им. Ни разу этот человек не сказал пошлости или общей мысли. Кое-чего он не договаривал, еще чего-то самого замечательного. И, видя Ильфа, я думал, что гораздо важнее того, о чем человек может говорить,— это то, о чем человек молчит. В нем (в молчании) он очень широко обнимал мир. . .

Естественно, когда говоришь о художнике, то суждение распадается на три части. Художник как личность, художник как таковой и художник как член общества. Какова была личность Ильфа? Он очень часто рассказывал о детях, всегда почти на его пути встречались какие-то мальчики и девочки, какие-то детские компании. Он чрезвычайно им сочувствовал и понимал их, подмечал, что́ самое в них смешное, чего они хотят, почему балуются, лезут на крыши, сговариваются о чем-то в подворотнях, собирают абрикосовые косточки, мастерят какие-то механизмы, читают на подоконниках. Этот мир привлекал его внимание необыкновенно. Можно не сомневаться, что «Том Сойер» был одной из любимых его книг. Приехав в Америку, он посетил город, где мальчиком жил Марк Твен. Интерес к детям много говорит о личности человека. Смотря на детей, думаешь о будущем как о чем-то непре-

менно хорошем. Ильф улыбался и сдвигал брови, разговаривая с мальчиками, и ни к одной из детских фантазий, ни к одному открытию, или предположению, или умозаключению не относился пренебрежительно. Таков был Ильф как человек. Со свежей, свободной душой — сам похожий на мальчика, замечавший на улице волшебные вещи, которые замечают только дети, называвший себя зевакою и поворачивавший во все стороны, как скворец, свою голову в кепке с большим козырьком. Прохожий, разговаривающий с детьми,— это очень редко, это почти сказка. Это так редко, что для иллюстрации художники выбирают именно этот момент. Ильф был прохожим, который разговаривает с детьми.

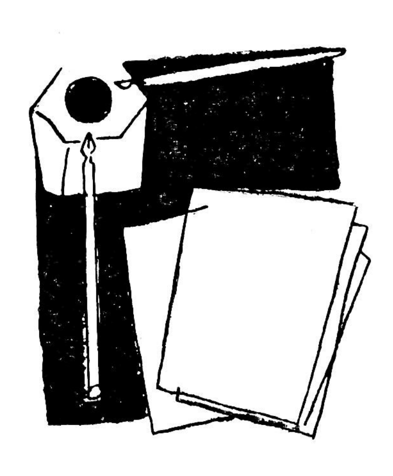
Ильф говорил ту или иную метафору. Вдруг. Отдельно. «Вы знаете? — говорил он.— Я видел знаете что?» — и он выкладывал великолепное сравнение. Так сказал он однажды, что видел девушку, у которой прическа была прострелена тюльпаном. И еще однажды и тоже о девушке, что ноги ее в чулках были похожи на кегли. Это давно было сказано, лет десять тому назад. Нигде не написано. Я до сих пор помню это, и, часто передавая тому или иному товарищу различные выдумки, выражения, находки, сюжеты моих литературных друзей, я никогда не спутаю, что это сказал именно Ильф. Так же часто я повторяю одну фразу из «Двенадцати стульев», что где-то грустно повествовала гармошка. Может быть, это сказал Петров — это не важно. Если бы это не понравилось Ильфу, Петров бы не настаивал. Чудесная фраза о грустно повествующей гармошке.

Ильф был художником, который удивлялся миру. Удивляются разно: как странно! как непонятно! А Ильф удивлялся: как красиво! Это самое чистое удивление, и оно делает художника. Ильф с юности размышлял

о Западе. Он хотел увидеть, побывать в Европе, в Америке. Эстетически он ощущал Запад через французскую живопись, через литературу. Тогда мы были резко оторваны от Запада. Блокада еще продолжалась, видоизменялась. До нас доходили слухи об экспрессионистах, о Чарли Чаплине. Техника наша была бедна. Только случайно в иностранных журналах могли мы увидеть новейшие машины. Целый мир открывало нам кино. За пошлыми сюжетами видели мы конкретный мир вещей: обстановку, одежду, автомобили, предметы домашнего обихода. Все это было чрезвычайно далеко от нас, недостижимо призрачно, как сам экран, где все это мерцало! Я помню, какое огромное впечатление произвела на Ильфа заграничная кинохроника, где были кадры матча между Карпантье и Демпсеем на первенство мира по боксу,— событие, захватившее в те времена весь мир.

Уже зрелым человеком Ильф побывал на Западе, результатом была превосходная книга «Одноэтажная Америка».

Что больше всего понравилось Ильфу на Западе? Это так неожиданно и так великолепно — так свежо и свободно, так по-детски и так могущественно. Прочтите книгу. С наибольшей теплотой и восторгом Ильф говорит о том, что индейцы не хотят разговаривать с белыми. А в другом месте сказано: «Южные штаты хороши не природой, не превосходными реками и лесами. Лучше всего там люди. И не белые люди, а черные». Таков был Ильф как член общества. Общество он признавал только социалистическое, где люди не ненавидят угнетенные расы, а как дети восторгаются ими.



ЛЕВ СЛАВИН ●

Я ЗНАЛ ИХ

В записках этих рассказано больше об Ильфе. Евгения Петрова я знал не то чтобы меньше, чем Ильфа, но иначе. С Петровым я был хорош. А с Ильфом близок просто биографически — общая молодость. Отсюда некоторая количественная неравномерность в воспоминаниях. Только отсюда, а отнюдь не от предпочтения одного из этих писателей другому.

Но от той же былой близости с Ильфом вспоминать о нем труднее. Бывает так, что то, что ты считаешь главным, в глазах других не имеет значения. А иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое

становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости — такие, казалось бы, крохотные подробности существования — в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа.

Но вот опасность, пожалуй, самая распространенная в этом жанре воспоминаний: незаметно для самого мемуариста его рассказ о почившем друге перерастает в воспоминания о самом себе. Как бы мы негодовали, если бы скульптор, создавая памятник писателю, придал ему свои черты! А в мемуарной литературе такая подмена портрета автопортретом не раз сходила писателям с рук.

Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим — и образ этого особенного человека будет огрублен и оболган, как это, между прочим, бросается в глаза, когда читаешь некоторые воспоминания о Чехове. Как это ни странно на первый взгляд, но Толстой со всей своей гениальной сложностью и бурной противоречивостью гораздо явственнее и правдивее встает в воспоминаниях современников, чем Чехов. И это понятно. Толстой очень мощно, очень кипуче самовыявлялся. А к Чехову пробиться трудно сквозь броню его сдержанности, его деликатных иносказаний, его полутонов, его закрытого душевного мира.

Но и Ильф был из людей этого рода. Петрова изобразил Валентин Катаев в романе «Хуторок в степи» в образе Павлика. Петров послужил прототипом для фигуры следователя в превосходной маленькой повести Козачинского «Зеленый фургон». К Ильфу и не подступались. Попробуй-ка изобрази этого человека, замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей веселости. . .

Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мяг-

кий — мягкий, но вдруг как кусанет — долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу. Ничего не может быть хуже, чем обсахаривание облика почивших учтивыми некрологами, всеми этими посмертными культами личности, не менее вредными, чем прижизненные. Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом мы забывали о жалости»,— пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе.

Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он скорее молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчальником, но с большей охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника: какой он, «куда» он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей.

Между тем, сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках. Когда читаешь его «Записные книжки», видишь, что ранние записи не менее блестящи, чем те, что сделаны в последний год его жизни.

В пору молодости, в 20-х годах, Ильф увлекался более всего тремя писателями: Лесковым, Рабле и Маяковским. Надо понять, чем в то время был для нас Маяковский. Его поэзия прогремела, как открытие нового мира — и

в жизни и в искусстве. О Маяковском написано много. Но до сих пор никто еще не оценил той исключительной роли, которую сыграл Маяковский в деле привлечения умов и сердец целого поколения к подвигу Октябрьской революции, когда он бросил свою гениальную личность и поэзию на чашу весов коммунизма.

Эту первую, юношескую влюбленность в Маяковского Ильф пронес через всю жизнь. Евгений Петров совершенно справедливо пишет в своих воспоминаниях об Ильфе: «Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность». Тут же замечу, что чувство это было взаимным. Маяковский высоко ценил Ильфа и Петрова. Пьесы «Клоп» и «Баня» появились после романа «Двенадцать стульев», которым Маяковский всегда восхищался, и было бы интересно проследить, как это отношение Маяковского к романам Ильфа и Петрова отразилось в его сатирических пьесах.

Маяковский, Лесков, Рабле были как бы стихийной литературной школой, которую проходил Ильф, ибо он, как и Петров, принадлежал к тому поколению писателей, когда еще не существовало литературных институтов. Тем не менее писатели как-то появлялись на свет божий.

Тогда в Одессе было два или три литературных кафе. Одно из них носило несколько эксцентрическое название — «Пэон IV», почерпнутое из стихов Иннокентия Анненского: «. . .Назвать вас вы, назвать вас ты, пэон второй, пэон четвертый. . .»

На эстраду этого «Пэона IV» входил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым (правда, не все соглашались со мной). В те годы Ильф был худым; он располнел только в последний период жизни,

когда болезнь вынудила его усиленно питаться и мало двигаться; начав полнеть, он обшучивал появившееся у него брюшко как нечто отдельное от себя, вроде какого-то добродушного домашнего животного, которое лежало у него на коленях.

Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем — первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался,— поблескивая крылышками пенсне и улыбаясь улыбкой, всю своеобразную прелесть которой невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа,— в ней были и смущенность, и ум, и вызов, и доброта.

Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи, ни поэзию, ни прозу, но и то и другое, где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и словотворческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил, главным образом, сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычайной стороны. Но эта необычайная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека.

Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю «неожиданно», потому, что Ильф никогда не проявлял «выступательских» наклонностей. Это, пожалуй, и отразилось в известном афоризме Ильфа и Петрова: «Писатель должен писать». Ильф воздерживался от выступлений и в одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически-огненных обсуждений и споров.

Да и позже, уже когда Ильф и Петров стали популярными писателями, эта часть — устные выступления — лежала на Петрове.

А вот в пору своей юности, «допетровский» Ильф читал свои произведения хорошо. Да и не только свои. Были случаи (на моей памяти их два), когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей. Второй случай: несколько литераторов во главе с Эдуардом Багрицким поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебос» («Меблированный остров»). Ильф играл роль одного из путников. Он вел ее изящно и весело, но быстро утомлялся. Мы тогда не подозревали о болезненности Ильфа. Это был человек с таким отменным душевным здоровьем, что нам не приходила в голову мысль о его физической хрупкости. Правда, и тогда уже прорывались кое-какие признаки ее. Он, например, не выносил длинных прогулок.

Когда веселой оравой сбегали мы с высокого обрывистого берега к морю, Ильф оставался один наверху. Мы долго видели снизу его одинокий неподвижный силуэт. В юношеском эгоизме своем мы забывали о нем. Он ждал нас. Вернувшись, мы принимались подтрунивать над ним. Ну, тут он брал свое,— кто же мог состязаться с Ильфом в остроумии! Сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами сдавался.

И только много позже, уже в период славы Ильфа, друзья стали догадываться о физической слабости его и о том, что автомобильное путешествие Ильфа и Петрова по американскому континенту, которое произвело на свет такую превосходную книгу, как «Одноэтажная Америка»,

имело для Ильфа такие же роковые последствия, как для Чехова поездка на Сахалин.

Впоследствии, когда Ильф стал известным писателем, жизнь его наполнилась беспрерывной спешкой на всякие заседания, собрания, комиссии и т. п. Суета эта изнуряла его, и он сказал однажды:

— Я решил больше не спешить. Опоздаю так опоздаю!

И действительно, он перестал торопиться. Но это не помогло. Он опоздал в главном: вовремя позаботиться о своем здоровье.

При всей своей хрупкости Ильф был человеком смелым. Это видно не только по его литературной деятельности. Я помню столкновения, в которых он заставлял отступать хулиганов. И, кажется, мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности? Да, вероятно. Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ и сделал на книге надпись: «Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности». Однако подчеркивать, что Ильф был скромен,— это все равно что подчеркивать, что Ильф умел дышать. Скромность была у Ильфа, как и у Петрова, безусловным рефлексом.

Упоминаю об этом не потому, что до сих пор время от времени попадаются примитивные характеристики Ильфа и Петрова, в стиле той снисходительной аттестации, что выдал им один критик: «Талантливые и честные сатирики». И уже совершенно умилительна наивность, с какой автор неких воспоминаний о Евгении Петрове восхищается такими его качествами, как добросовестность, вежливость, искренность, внимание к человеку. Надо ли говорить, что душевное богатство Ильфа и Петрова не

исчерпывалось элементарной порядочностью! В них было кое-что побольше.

К бессодержательной и высокопарной болтовне Ильф питал особенное отвращение. Напыщенные банальности немедленно вызывали в нем остро насмешливую реакцию. Как-то спускались мы с ним по лестнице Дома Герцена (где ныне Литературный институт). Два критика стояли на площадке и о чем-то горячо разговаривали. Мы остановились, чтобы закурить. И тут до нас донеслись обрывки разговора. Оказывается, они спорили о романах Ильфа и Петрова. Один из критиков, горячась, восклицал:

— Нет, вы мне все-таки скажите определенно: Ильф и Петров явление или не явление?

Ильф посмотрел на меня, усмехнулся характерной для него насмешливо-доброжелательной улыбкой и шепнул:

— Явление меж тем спускалось по лестнице. Оно курило. . .

Ильф — и не только он один, а вся семья, в которой он родился и вырос,— представляет собой поразительный пример той силы, которой обладает врожденное призвание.

Их было четыре брата. Ильф был третьим по старшинству. Отец их, мелкий служащий, лавировавший на грани материальной нужды, решил хорошо вооружить своих сыновей для житейской борьбы. Никакого искусства! Никакой науки! Только практическая профессия! Старшего сына, Александра,— это было задолго до Октябрьской революции — он определяет в коммерческое училище. В перспективе старику мерещилась для сына карьера солидного бухгалтера, а может быть — кто знает! — даже и директора банка. Юноша кончает учи-

лище и становится художником. Отец, тяжело вздохнув, решает отыграться на втором сыне, Михаиле. Уж этот не проворонит банкирской карьеры! Миша исправно, даже с отличием окончил коммерческое училище и стал тоже художником. Растерянный, разгневанный старик отдает третьего сына, Илью, в ремесленное училище. Очевидно, в коммерческом училище все-таки были какие-то гуманитарные соблазны в виде курса литературы или рисования. Здесь же, в ремесленном училище «Труд» на Канатной улице,— ничего от искусства. Здесь только то, что нужно токарю, слесарю, фрезеровщику, электромонтеру. Третий сын в шестнадцать лет кончает ремесленное училище и, стремительно пролетев сквозь профессии чертежника, телефонного монтера, токаря и статистика, становится известным писателем Ильей Ильфом.

Нельзя не признать, что это была семья исключительно одаренная. И ничто этой непреодолимой тяги не могло остановить.

Можно только задать вопрос: стал ли бы третий сын Ильфом, если бы он в один из наиболее счастливых дней своей жизни не встретился с Евгением Петровым?

Надо сказать, что Ильфа всегда одолевали одновременно десятки тем и замыслов. Это видно и по его «Записным книжкам». Это был ум широкий, но разбросанный. Или, может быть, с трудом укладывавшийся в рамки традиционного повествования и блуждавший в поисках новых жанровых путей.

И вот тут как нельзя более кстати встретился ему на жизненном пути Женя Петров, талант уравновешенный, дисциплинированный, умевший, сочетав острую, но разбегающуюся фантазию Ильфа со своим упорядоченным и отчетливым воображением, ввести вдвоем с Иль-

фом все это богатство в привычное русло плавного рассказа.

В последние годы своей совместной работы они словно пронизали друг друга. Лучший пример этого слияния — целостность «Одноэтажной Америки», которую они писали раздельно. Книга эта стоит, на мой взгляд, нисколько не ниже сатирических романов Ильфа и Петрова. А местами по силе изображения и выше. Порочность общественного строя США вскрыта глубоко и притом без вульгарного и бездоказательного приема окарикатуривания отдельных американцев, а художественно сильными картинами теневых сторон американского образа жизни. Очень высоко оценил «Одноэтажную Америку» А. Н. Толстой, который назвал ее «чрезвычайно зрелой художественно».

Те же мотивы мы встречаем и в частных письмах Ильфа из США.

«Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс»,— писал Ильф из Нью-Йорка.— Это пьеса из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал русский Судейкин, а играли негры. В общем торжество американского искусства».

Ильф и Петров хорошо знали американцев. «Вино,— записал Ильф в своей «Записной книжке»,— вино требует времени и умения разговаривать. Поэтому американцы пьют виски».

Во время войны я наблюдал Евгения Петрова в обществе американца. Это был известный писатель Эрскин Колдуэлл. Было это в августе 1941 года. Колдуэлл оказался единственным крупным американским литератором

на нашей территории в ту начальную пору войны. Американские газеты и агентства буквально засыпали его просьбами писать о военных действиях на Восточном фронте. Евгений Петров, друживший с Колдуэллом, приводил к нему приезжавших с фронта литераторов, для того чтобы они начиняли его «боевой» информацией.

Ленинградский фронт тогда освещался в печати довольно скупо, и Колдуэлл с жадностью прильнул ко мне. Это был довольно еще молодой человек болезненной наружности, с мягкими манерами. Он поразил меня двумя своими особенностями. Во-первых, размерами своего шлема. Тогда Москву бомбили, и Колдуэлл во время бомбежек надевал этот свой стальной шлем, который покрывал не только голову, но и плечи, и даже часть спины. Где он достал эту штуку, я не знаю. Наверно, ее сделали по специальному заказу. Я не мог отвести глаз от этого грандиозного шлема, он меня гипнотизировал. Наконец Петров, воспользовавшись тем, что Колдуэлл на минуту вышел из комнаты, сказал мне довольно сердито:

— Слушайте, Лева, что вы уставились на этот шлем? Колдуэлл человек вежливый. Кончится тем, что он вам подарит его. И тогда вы пропали. Это же все равно что выиграть в лотерею корову.

— Но почему он такой большой? — спросил я, все еще не в силах оторваться от шлема.

Женя свойственным ему предостерегающим жестом поднял палец, наклонил набок голову и сказал назидательно:

— Американцы любят не только свою голову. Они очень привязаны к своей спине и к своим плечам.

Вторая вещь, которая поразила меня в Колдуэлле, — это его не совсем уверенные познания в географии Европы. Когда я рассказывал ему о положении на Ленин-

градском фронте, выяснилось, что он не только не догадывается о существовании на свете Финского залива, но и не совсем четко представляет себе, где, собственно, расположены Финляндия и Балтийское море.

Когда мы ушли от Колдуэлла, я не скрыл от Петрова своего удивления.

— Слушайте, Лева,— сказал Петров, взяв меня под руку и заглядывая мне в лицо с характерным для него наклоном головы,— зачем ему знать географию? Американцы знают только то, что им нужно для их профессии. Колдуэлл — узкий специалист. Он умеет только одно: хорошо писать. Больше ничего. Скажите откровенно: вы считаете, что для писателя этого мало?

Не помню, что я ответил. Но хорошо помню, чтó меня поразило в этих словах Евгения Петрова. Меня поразило, что то же самое в этом случае, вероятно, сказал бы Илья Ильф. Меня поразило внезапно вспыхнувшее в Петрове сходство с Ильфом — через пять лет после его смерти.

Когда хоронили Ильфа, Петров обмолвился горькими словами: «Я присутствую на собственных похоронах. . .» И вдруг через пять лет я увидел, что Ильф весь не умер. Петров, так никогда, на мой взгляд, и не утешившийся после смерти Ильфа, как бы сохранил и носил в самом себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими «Ильфовыми» словами и даже интонациями, которые в то же время были словами и интонациями Петрова. Это слияние было поразительно. Его до сих пор можно наблюдать более всего все в той же «Одноэтажной Америке», где двадцать глав написаны Ильфом, двадцать — Петровым и только семь — совместно. Но никто не мог отличить перо Ильфа от пера Петрова. Их литературное братство стало химическим соединением, одним телом.

Трудно сказать, всегда ли так было или это пришло с годами, но у них появились общие черты характера.

Не следует думать, что Ильф и Петров по своему положению сатириков беспрерывно острили и не переводя дыхания извергали из себя сногсшибательные афоризмы. Люди хохочут, читая саркастические страницы их романов, осмеивающие моральное уродство обывателей. Но самих писателей эти бытовые пороки не смешили, а возмущали, мучили. Тот, кто знал Зощенко, помнит, что эта черта была свойственна и ему.

Был случай, когда долго и неудачно возились с началом одного строительства. Бездарный проект и бюрократические методы работы возмущали Ильфа, который имел возможность часто наблюдать этот объект. На строительной площадке вечно толпилось без дела множество народу. Служащих было едва не больше, чем рабочих. Уже построили дом для администрации, контору, склад. А стройка не подвигалась. Как-то увидев Ильфа, я осведомился о положении на объекте. Он сказал с досадой:

— Все то же: вырыли большой котлован и ведут в нем общественную работу.

Я рассмеялся, но Ильф оставался мрачен.

Другой случай. Редакция «Литературной газеты». Заместителем редактора был тогда Евгений Петров. Однажды в редакцию приезжает поэт, довольно известный. В руках у него патефон. Он входит в кабинет Петрова, заводит патефон и проигрывает только что выпущенные пластинки с напетыми на его тексты песнями.

После ухода поэта Петров сказал:

— Все-таки Лев Толстой не ездил по редакциям с патефоном. . .

Мы все, кто там были, рассмеялись. Но Петров не смеялся. Ему было грустно.

Еще один пример. Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне:

— Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается. . .

Это не острота в общепринятом смысле этого слова. Это художественный образ, безжалостный в своей точности. Замечание Ильфа о котловане, так же как и отзыв Петрова о поэте с патефоном,— это не игра слов, не острота для остроты. Эффект смешного у Ильфа и Петрова проистекал из того, что вещи, изображаемые ими, не совпадали с распространенными и неверными представлениями об этих вещах, и с тем большей пронзительностью сатирические приемы этих писателей вскрывали самую сущность людей и явлений. Образы их были неожиданны, но точны. И в точности своей беспощадны.

С годами Ильф и Петров становились в творчестве своем серьезнее, лиричнее, глубже. Именно об этой поре вспоминает Евгений Петров в своих незаконченных набросках об Илье Ильфе: «Юмор — очень ценный металл, и наши прииски уже были опустошены». От этих слов, тоже замечательных по своей образной точности, веет некоторой грустью: это похоже на прощание с молодостью. Иногда Ильф и Петров мечтали вслух о том времени, когда сатирики не будут нужны, ибо исчезнет самый материал для сатиры. Если бы такое время каким-то чудом и наступило при жизни Ильфа и Петрова, это вовсе не значило бы, что они перестанут писать. Когда-то сходный процесс переживал и Чехов, уходя от «осколочных» фельетонов с их сатирической гиперболизацией в боль-

шую реалистическую литературу. Первым опытом Ильфа и Петрова в новом для них направлении явился очаровательный рассказ «Тоня».

Новые настроения сказываются и в письмах Ильфа из Америки. Вот отрывок из одного письма, где он описывает свое впечатление от зрелища, которое испокон веков принято считать романтически красивым и неотразимо живописным:

«. . .Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуаренце. Я об этом не жалею, но скажу тебе правду — это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. В программе было четыре быка, которых должны были убить две девушки-тореадорши. Быков убивали плохо, долго. Первая тореадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-тореро заплакала от досады и стыда. . . Особенно подлым зрелищем было издевательство над четвертым быком. Все сделалось еще унизительнее и страшнее. . .»

В основе разоблачительного пафоса и сатирического гнева Ильфа и Петрова лежало глубокое чувство любви к родине, подлинный высокий советский патриотизм. Вот почему их книги вызывали такую яростную реакцию со стороны международного фашизма. С какой гордостью писали Ильф и Петров в 1935 году о варварской расправе гитлеровцев с их книгами: «Нам оказана великая честь, нашу книгу сожгли вместе с коммунистической и советской литературой».

Жестокость, самодовольство, бездушие, лицемерие и прочая душевная грязь даже в микродозах не ускользали от глаз Ильфа и Петрова, от четырех проницательных

глаз этого писателя. Они не поддавались никаким иллюзиям. Никакой внешний блеск, никакой декламаторский пафос не могли их обмануть.

К Ильфу и Петрову тянулись молодые писатели, пробовавшие себя в сатирическом роде. Группировались они главным образом вокруг Петрова. Общение это было непродолжительным. Петров умер молодым. Но до сих пор бывшие ученики его, «сии птенцы гнезда Петрова», ныне люди на возрасте, помнят точную, кропотливую работу его над рукописями, предметные уроки мастерства и излюбленное его присловье: «В искусстве, как и в любви, нельзя быть осторожным».

Однажды в театральном мире Москвы произошел случай, который послужил поводом к появлению на страницах «Правды» одного из самых «неосторожных» и благородных фельетонов Ильфа и Петрова. Вкратце говоря, дело состояло вот в чем. В один из московских театров пришел на спектакль гражданин с женой. Контроль не впустил их, несмотря на то что их билеты были в полном порядке. Оказалось, что театр, зная, что эти места уже куплены, тем не менее продал их вторично. Причина: спектакль пожелал посмотреть не кто иной, как «сам» американский посол. А в таком случае, решило руководство театра, плевать на своих.

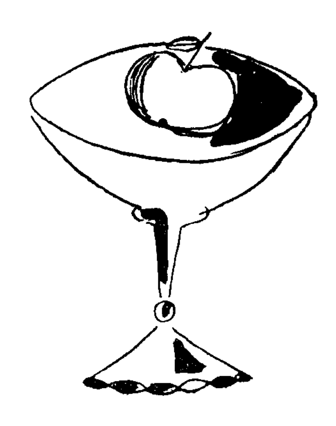
До сих пор этот старый фельетон Ильфа и Петрова обжигает огнем гражданского гнева, с каким писатели заступились за достоинство советского гражданина и обрушились на лакейское рвение театральной администрации.

В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа — «Наши знакомые».

Ильф лично не знал его. Но, услышав, что Герман приехал на несколько дней в Москву из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому молодому писателю, как ему понравился его роман и почему он понравился ему.

Я уже говорил о доброте — чувстве общем у Ильфа и Петрова. Надо уточнить: какая это была доброта? Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаниям дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности.

Внимание Евгения Петрова к проблемам материального быта, за которое иные называли его «поэтом сервиса», проистекало не из какой-нибудь его особой привязанности к комфорту, а из никогда не покидавшего его желания облегчить существование людей и из того, что он представлял себе это не в приподнятых, отвлеченных общих фразах, а конкретно, вещественно, по-земному. В основе всей литературной деятельности Ильфа и Петрова лежала любовь к человеку. Заботливая, деятельная, воинствующая любовь к человеку, которая, как мне кажется, и является главной причиной популярности этих писателей в народе.



СЕРГЕЙ БОНДАРИН •

МИЛЫЕ ДАВНИЕ ГОДЫ

1. ХЛЕБ

В двадцатом году, однажды, я получил паёк — буханку хорошего ситного хлеба. Я работал далеко за городом, и домой нужно было идти пешком часа четыре. Я не ел хлеба и накануне, но мне очень хотелось донести свой каравай нетронутым — так уж красив он был с его лакированной корочкой, так уж я был тщеславен. . .

Я шел домой, хотелось есть, и в голове шумело, но я крепко держал хлеб — в ту пору случалось, что съедобное выхватывали из рук среди бела дня.

Благополучно пройдя свой путь (до дома оставалось уже квартала два), я решил вознаградить себя и отломил кусочек корочки. Но тут мне повстречался один знакомый

молодой человек, и я растерялся, как мог бы растеряться от преступного покушения.

Этот молодой человек со странно примятым носом на румяном лице, в пенсне, в цветистом, входящем тогда в моду галстуке высоко держал голову и выглядел задорным и надменным.

Мы не были с ним близко знакомы, но там, где мы встречались, он слыл насмешником; все побаивались его меткого словца.

И вот этот молодой человек, при виде которого, казалось мне, мог побледнеть самый развязный одесский конферансье, шел навстречу. Нужно ли говорить, что я предпочел бы сейчас не держать в руках идиотской дырявой теткиной корзины с двумя метрами бязи для подштанников, пачкой махорки, куском серого мыла, полдюжиной недозревших помидоров, и даже — моей буханки... Ну и вид должен был быть у меня!

— Здравствуйте! — сказал молодой человек.— Откуда идете? Что у вас в корзине?

— Здравствуйте! — суетливо ответил я.— Читали Пьера Бенуа? Какое искусство фабулы! Какая фантазия!

— Пьер Бенуа? — сказал молодой человек.— Конечно... Нам по дороге?

Мы сделали несколько шагов, и, покуда я придумывал, как поддержать разговор, мой спутник, не глядя на меня. сказал:

— Дайте хлеба...

Я даже остановился.

Посмотрев на него, я увидел, что он очень худ,— выдавшиеся скулы с легким румянцем и толстые губы.

Под стеклами пенсне блеснули веселые глаза, и я увидел улыбку сухих, желатиновых губ, с пятнышком на нижней, простодушную и немного смущенную, совсем не

такую, какой казалась его улыбка издалека. А главное — так непосредственно было это «дайте хлеба», отрывистое от смущения, что я не раздумывая с силой отломил от своей аккуратной буханки ломоть и отдал его спутнику.

— А вы? — спросил он.

— Ничего. Я уже ел,— отвечал я, стараясь пригладить поврежденную мякоть хлеба.

Он посмотрел на меня, на мою растерзанную краюху и отломил от своей доли половину.

— Ешьте,— отечески сказал он.— Хватит обоим.

И мы пошли дальше, задушевно болтая — не об африканской экзотике Бенуа, а о наших, своих, домашних, юношеских делах, которых оказалось достаточно.

— Отломлю еще,— сказал я, когда мы кончили есть.

— Нет,— очень серьезно возразил молодой человек,— вы и так изуродовали хлеб. Смотрите, что мы наделали. . .

Этот молодой человек впоследствии сделался известным писателем, которого многие полюбили: в книгах он был насмешлив, но весел и доброжелателен. И у него появилось новое имя, сложенное из инициалов. . .

2. ЯБЛОКО

Вернемся, однако, к тому времени, когда Илья Арнольдович Файнзильберг ещё не стал Ильфом и все мы были молодыми.

Мы не чувствовали прошлого — и не удивительно: было только будущее, ибо и настоящее служило ему.

Едва ли не сверстник наш, Георгий Аркадьевич Шенгели представлялся нам, людям по молодости беспощад-

ным, человеком другого, чуждого нам поколения, смешным архаистом, чуть ли не из другой страны, со скучно устоявшимися правилами жизни и поэзии. А было Шенгели о ту пору немного за тридцать, и был он стройный, смуглый, с «пушкинскими» бачками, в твердой, как ореховая скорлупа, экзотической шляпе-шлеме «здравствуй-прощай».

Шутка ли теперь, в 61-м году, сказать: «Начало двадцатых годов»...

Уже в те годы дружба с Ильей Арнольдовичем льстила самолюбию каждого из нас и доставляла изо дня в день все новые удовольствия. Необыкновенным был этот молодой человек — тихий, но язвительный, особенный в повадках, в манере одеваться, входить в комнату, вступать в разговор, особенный и вместе с тем очень простой, демократичный, со своим, уже выработанным вкусом, что, должно быть, и определило и внешние манеры и скрытые стремления.

Ум у этого очень любопытного к жизни человека был иронический, а душа добрая. Он умел говорить очень резкие вещи не обижая. Эта редкая благородная способность проистекает от доброты и душевной щедрости, чего так много было у Ильфа. Его наблюдательность была не мелочной, это была не та наблюдательность, когда замечают стоптанный сапог, большие уши, трещину в старом шкафу. Нет, Ильф по стоптанному сапогу, по обстановке в квартире умел, а главное — всегда стремился понять характер человека, его вкусы, его душевное состояние. И любопытство Ильфа не было любопытством зеваки. Это было неравнодушное наблюдение, доставляющее работу и уму и сердцу. С этого начинается писатель и художник.

Таким, уже зрелым человеком, я узнал Илью Арноль-

довича Ильфа в годы, когда каждый день жизни приносит обогащение.

Не все и не сразу становилось понятным. Я недоумевал: что так привлекает этого таинственного человека в самодеятельных литературных кружках, что может он здесь почерпнуть, чего он здесь ищет? Неясным было это даже после того, как мы стали бывать друг у друга. А может быть, он и сам пишет? Поговаривали, что пишет, но чтó пишет и кáк пишет — никто не знал. А сам он, если спрашивали его об этом, не то усмехнется, не то, наоборот, станет как-то задумчив, серьезен — и в ответ всегда одно:

— Я больше люблю читать или говорить по телефону.

Аккуратно приходил этот румяный, толстогубый человек в пенсне в «Коллектив поэтов» — кружок, наследовавший традиции «Зеленой лампы», прежнего литературного кружка, в котором начинали Багрицкий, Катаев, Олеша, Шишова, Адалис... Чаще всего Ильф появлялся там вместе с Львом Славиным. За Славиным в кружке тоже укрепилась репутация беспощадного и хлесткого критика. Известны были его сатирические рассказы с чертами гротеска.

Кинематограф Ильф любил не меньше, чем книгу или разговоры по телефону,— за то, что экран сообщал много такого, что не всегда могла рассказать книга. Ему, например, запомнилась сцена из старой кинохроники «Патэ» — приезд Пуанкаре в Петербург. Он запомнил жесты французского президента, мимику, и мы, случалось, в компании забавлялись этой игрой. Смешно воспроизводилась мимическая сцена, в которой Ильф изображал французского президента в котелке, неуверенно сходящего по трапу с броненосца. Толпа... Почетный караул... Церемониальный марш...

Такое представление состоялось однажды в полупустой, просторной квартире общей нашей приятельницы.

Когда Ильф вошел сюда в первый раз, он неторопливо оглядел комнату, в которой на холодном, сверкающем полу стояли два или три стула, и заметил:

— Теперь я наконец понимаю, почему говорят: «Живу на жилплощади».

Хозяйка дома и сама охотно принимала участие в инсценировке, изображая вместе с нами восторженную толпу, но не забывала при этом следить за тем, чтобы стулья оставались на своих местах. И вот французский президент, перед тем как сойти с броненосца, со всею галантностью, как и подобает французу, отнесся к прихотливым требованиям дамы и заранее с полной серьезностью тщательно обвел мелком — мелок оказался у него в кармане — точки, где стояли ножки стульев... После спектакля стулья были поставлены на место.

Часто играли в игру «Что возьмем с собою на необитаемый остров?». Твердо помню, что с Диккенсом Ильф расстаться не хотел даже на необитаемом острове, и едва ли будет преувеличением сказать, что этого автора Ильф полюбил навсегда и не расставался с ним до самой смерти. Иные главы «Двенадцати стульев», по словам самого Ильфа, «срисовывались» с «Пиккуикского клуба». Думаю также, что зерно сюжета заимствовано у другого любимого автора — Конан-Дойля.

Не один раз Ильф рассказывал нам в разных вариантах историю о голубом «брильянте». В основе истории лежал известный рассказ Конан-Дойля о том, как рождественский гусь проглотил драгоценный камень.

Мы жадно листали иллюстрированные журналы, смакуя с одинаковым удовольствием и Бенуа и Жироду, но Илья Арнольдович показывал пример серьезного отноше-

ния к таким писателям и поэтам, как Франсуа Вийон, Рабле, Стерн, Франс, наш Лесков. Обновлялось отношение к хрестоматийным именам и наряду с этим возникало пристальное внимание к современникам — к Маяковскому, Асееву, Пастернаку, которых мы слушали в отличном чтении Багрицкого; это приучало к правильному пониманию новых поэтов. Нередко после чтения своих стихов мы засиживались при свете восходящей луны, слушая стихи «настоящих» поэтов — Маяковского, Есенина, Мандельштама, Ахматовой. . . Незабываемо то праздничное чувство, какое испытывали мы, по-новому читая знакомые книги, открывая незнакомые.

Всего не перечтешь, не вспомнишь! Такое было время для всех, и тут ничего нового не скажешь. Важно напомнить, что это бескорыстное увлечение учило всех нас, молодых людей 20-х годов, многому хорошему и полезному. И говорить об этом хочется не только потому, что всегда приятно вспоминать радости молодости, но еще и затем, чтобы не утаить это хорошее от юношей и девушек нынешних, 60-х годов. . .

Однажды Илья Арнольдович вдруг пропал. Его не видно было неделю, другую.

Он жил в доме, известном в Одессе как один из «домов князя Урусова». Не нужно, однако, думать, что это был роскошный особняк. Стоял дом, правда, на одной из лучших улиц города, поблизости от обрыва с парапетом, с которого открывался вид на порт и море, но все же это был обыкновенный доходный дом и в нем довольно многочисленной семье Файнзильберг принадлежала небогатая квартира на третьем или четвертом этаже, смотревшая окнами в узкий темный двор-колодец.

На мой звонок вышел младший брат Ильи Арнольдовича. Мальчик был чем-то смущен.

Помнится, в квартире было не очень уютно и холодно. Как знать, может быть, эти воспоминания и дали Ильфу впоследствии повод записать в своей записной книжке: «Чувство уюта — одно из древнейших чувств». Эти записи выражают сущность человека с не меньшей отчетливостью, чем самый образ жизни, его дела.

Илью Арнольдовича я нашел в постели. На столике рядом с лекарствами красовалось румяное яблоко. Больной выздоравливал после серьезной болезни. Возможно, уже тогда проявлялись симптомы чахотки, сведшей Ильфа в могилу через шестнадцать лет, но никто этого тогда не подозревал.

Как всякий больной, Илья Арнольдович очень обрадовался гостю, хотя и встретил меня словами не совсем обычными:

— Если бы вы знали, в каких сантиментах воображения я утопаю! Только это одно веселит меня. Больше всего я теперь интересуюсь почтальонами. Вид этих добрых людей заставляет мое сердце метаться. . . Но вот уже давно нет звонка почтальона. И я занимаюсь тем, что пишу ответы на не полученные еще письма. Не забавно ли? — И вдруг у Ильи Арнольдовича быстро и лукаво блеснули глаза, он взял со столика пенсне и какие-то листочки бумаги.— Хотите, прочту? Вы как-то просили об этом. Это не стихи, но, наверное, и не проза. Ешьте мое яблоко и слушайте.

Я знал девушку, которой, видимо, адресовались эти письма. Немного танцовщица, немного поэтесса, немного художница, девушка эта недавно уехала в Москву или Ленинград — куда точно, я тогда не знал, но знал, что Илья Арнольдович тоже собирается ехать туда же: там,

в Ленинграде или в Москве, он намерен был жить, искать работу, любить, ходить в театры, заводить интересные знакомства, посещать лекции, диспуты. Словом, жить другой, столичной жизнью: в Одессе уже больше нечего делать. Туда, туда! . . Уже уехали Адалис, Катаев и Олеша, укладывает в дорогу свою шляпу «здравствуй-прощай» Георгий Шенгели. Вот только встанет он на ноги — и сам начнет собираться в отъезд. . . А пока еще шумит неподалеку Черное море, и беспричинная печаль заставляет марать бумагу — не вздор ли все это. . .

Я уже боялся, что Илья Арнольдович раздумает и не станет читать. Но вот, откинув теплую женскую шаль и серую солдатскую шинель, служившие ему одеялами, он привстал и, поправив пенсне, начал всматриваться в листки бумаги, исписанные прямым и крупным почерком.

Это было первое из им написанного, что предстояло мне услышать, а не увидеть: до того он лишь показывал мне иногда плоды своей любимой забавы — рассказы в иллюстрациях на самые разнообразные, всегда смешные сюжеты. Рисовал он эти картинки не отрывая карандаша от бумаги; быстрый, меткий карандаш хорошо повиновался замыслам автора. Но это были только картинки, и неудивительно внимание, с каким я отнесся к запискам Ильи Арнольдовича. И так случилось — уже значительно позже,— что эти записки-письма, а может быть, страницы дневника, оказались у меня в руках, и тогда я с особенной живостью вспомнил день и час у постели больного Ильфа.

Думаю, что лучше всего попросту привести здесь кое-что из этих записок.

«Милосердие, милый друг, единственно лишь ваше милосердие еще может спасти меня,— писал Ильф.— Я ожидаю от вас письменного разрешения моих грехов

до той благословенной поры, когда и мне будет принадлежать Москва. О, время, когда зацветет свечами дерево Преображенской улицы! Тогда я покину родные акации и уеду на Север. Мой путь будет лежать на Москву. Моя верность приведет меня к вам, и вашим милосердием мне будет подана жизнь. А моя жизнь — все та же. Дымный мороз — и санки слетают на Греческий мост, но приходит ветер западный и южный. И ничто, даже самое яростное воображение весны не заменит вам западного и южного ветра в феврале. В городе, где так много любви и так много имажинизма, каждое утро я говорю: пусть вы все будете так прокляты в своей любви, как я проклят в своей ненависти. И пусть, взглянув на небо, вы не увидите ничего, ни ангела, ни властей. День проходит в брани и проклятьях, а ночи едва хватает для снов: на маленьком пароходе мне надо плыть в Лондон, степень моих морских познаний лишь яснее разворачивается в блеске невежества. Стыд перед капитаном с голой, как яйцо, головой побуждает меня проснуться. Ночью я вспоминаю осень и пожар, и осень эта один пожар, будто не было иного. И так вы видите во мне не много изменений. По-прежнему предоставляя небо птицам, я все еще обращен к земле. Ожидаю вашего письма, будьте многословны в разговорах о себе и точной в описаниях Москвы, живите возвышенно, не ешьте черного хлеба. Его с большим удобством можно заменить шоколадом. . .

Считайте лирическую часть моего письма оконченной, я начинаю с середины, закройте дверь, я ожидаю к себе уважения. Именно так, и я сказал то, что сказал. Можно видеть женщину, возникающую из пены и грязи Ланжерона, в шляпе, в вуали, в купальном костюме, образованном тугим корсажем и короткой юбочкой. О, бесстыдство и привлекательность! Вульгарно и непристойно

изображал таких художник Фелисьен Робс. Можно увидать собак, пораженных любовью, и закат «в сиянии и славе нестерпимой», и еще, и снова, и опять, и так, как оно было, и так, как этого никогда не бывает, а я говорю: «Никто не знал любви до меня и никто не узнает ее после меня». Именно так. И я сказал, что говорили другие. Впрочем, для тревоги нет основания, в этом деле преданность прошлому обещает многое в предстоящем... Теперь я ношу галстук, какие в Америке носят негры, а в Европе никто не носит. Естественно, что мне остались только поцелуи. Только упорным трудом можно спасти Республику, а мы поражены любовью. И Славин, я говорю вам, Славин тоже! Лева, дитя мое, он погиб! Вы говорите — море. Очень может быть... В Петербурге, понятно, акаций нет. Но взрастите ее в комнате. Вздохните! О, аромат, о, благоуханье! Первый день на неделе и первый на земле. Ветер идет от юга. Он придет раньше этого письма. Облака и все сдвинулось к северу... Но пусть сопроводит вас успех... Буйство, нежность, путешествия!

Здесь холодно, и меня мучает воспоминание о ваших теплых коленях. Странный человек (в квартире напротив) трубит погребальный марш. Я один в комнате, где могли быть и вы. Я грустен, как лошадь, которая по ошибке съела грамм кокаину. Я один, это ужасно...

Я один лицом к лицу с яблоком... Что за яблоко? С какого оно дерева?

Комната слишком велика, чтобы одному есть в ней яблоко... Я не верю в свою хладнокровную тупость, и мне нет дела до лейтенанта Глана. А вам я друг верный и преданный...»

Перечитывая этот текст, я думаю: вот случай из тех, когда душевно чистый, деликатнейший человек хотел ка-

заться другим — грубоватым, даже развязным, когда самый стиль норовит прикрыть сущность. Должно быть, это прием самозащиты, выражение растерянности, смятения. . .

— Берите яблоко,— вдруг прекращая чтение, сердито сказал Илья Арнольдович.

По тем временам яблоко было редким лакомством. И сейчас вижу его: аппетитные выпуклости на крутых цветущих боках, блеск кожуры.

— Нет, ешьте и вы. Вы ведь любите яблоки.

Ильф сочно откусил и заметил:

— А знаете, все-таки больше всего я люблю колбасу. Довольно! Нельзя!

— Что нельзя?

— Не следовало бы посылать этот вздор. . . Лучше расскажите, что происходит в милом девичьем гнезде на Преображенской? Это яблоко оттуда.

Он спрашивал, что нового в доме на Преображенской улице, перед окнами которого с наступлением весны зацветут каштаны и акации. Но пока еще дует с моря холодный ветер, и там, в доме над самым обрывом, в нетопленной квартире, брошенной прежними хозяевами, несколько девушек, под самоотверженным руководством художников-энтузиастов, образовали студию. По примеру «Коллектива поэтов» кто-то окрестил новое начинание «Коллективом художников».

Зимой двадцать первого года там протекло немало чудесных долгих вечеров у раскаленной докрасна печурки, среди подрамников и мольбертов, в запахе красок, жареной кукурузы, морковного чая, в беседах, шутках, импровизациях, в подражании монмартрским нравам. Не только юноши, но и пожилые люди любили бывать там. Душою общества был ласковый и остроумный Михаил

Александрович Медведев, седовласый художник, знававший Париж, Мюнхен, Вену. Разве может это не понравиться?

Чуть ли не ежедневно бывал здесь Багрицкий, появились Ильф и Славин, зачастил брат Ильфа, художник Маф — Михаил Арнольдович, за глаза больше известный под именем Миша Рыжий, а впоследствии — в Москве — Лорд-хранитель Дома печати. Зашел как-то задумчивый пролетарий Гехт в кожаной тужурке наборщика, попахивающей свинцом. Бегал сюда Сема Кирсанов, удивлял девушек зычными будетлянскими стихами, голосом слишком громким для подростка. Багрицкий, может быть сам под впечатлением новой своей поэмы «Сказание о Летучем голландце», бросил словцо, и за тремя девушками из «Коллектива художников», статными и длинноногими, закрепилась романтическая кличка — валькирии. Так и пошло.

Как бы отводя душу после импровизированного чтения, вдруг прервав его, Илья Арнольдович так же неожиданно промолвил, повторяя вопрос:

— Так как же там, гей ты, моя Генриетточка?

Надо сказать, что перед самой болезнью Ильфа стало известно о забавном происшествии, случившемся с одной из валькирий, именно Генриетточкой. В этот вечер Илья Арнольдович гулял с нею по известному одесскому бульвару у памятника Пушкину, как вдруг девушка с ужасом почувствовала, что у нее отскочила очень важная пуговица. Разговор шел о новых спектаклях Мейерхольда, но не оставалось ничего другого, как прервать собеседника и извиниться перед ним.

— Да, — важно заметил Илья Арнольдович, — поправьте свой туалет, девушка должна возвращаться домой в аккуратном виде.

Смущенная собеседница скрылась за кустами. Но в этот момент Илья Арнольдович увидел ватагу одесских сорванцов, шумно приближающихся по аллее. Дело происходило поздним вечером, и девушка признавалась потом, какое облегчение почувствовала она, когда навстречу развязной компании твердо шагнул ее спутник и, обмахиваясь широкополой женской шляпой, оставленной на минутку в его руках, встал у куста на страже. Удалая компания прошла дальше.

Больше всего поразило девушку выражение лица Ильи Арнольдовича, человека, в сущности, мало ей знакомого, недосягаемого в ее глазах. Это было выражение непреклонной решимости: опасность встречалась твердо и смело.

— Так вот... Гей ты, моя Генриетточка! — еще раз усмехнулся Ильф.

Его чтение настроило было меня на другой лад, я мало что понял в прочитанном, но тут сразу стало легко и весело. И легко было теперь сказать, что я плохо понял письмо и что, пожалуй, действительно, не стоит отправлять такие письма девушкам. Надо проще...

— Да, надо бы проще, но проще у меня, вероятно, никогда не получится,— печально проговорил Ильф.— Много слов, а истина не вся... но да будет так!

Он взял со столика конверт с уже написанным на нем адресом, вложил в конверт листки и тихо проговорил:

— Почтальон будет не раньше нового утра по солнечному исчислению. Этот добряк не хочет мне зла. Но вы возьмите и отправьте. Почтовый ящик у нас за воротами. Будем действовать. Довольно размышлять о насморке Робеспьера и о тайнах Теодора Гофмана. Почта теперь ходит плохо, и, бог даст, письмо не дойдет. Что делать, от этого гибли империи, не то, что я... Будущий поэт,

совместивший в себе качества Горация и Банделло, такой поэт когда-нибудь расскажет о моей судьбе.

Письмо по адресу дошло, не коснувшись, однако, судьбы Ильфа. Судьба его была не там, куда ушло мудроватое письмо, продиктованное тревожной и зыбкой влюбленностью,— иное стояло за дверью.

Вот и близок конец моего рассказа. Добавлю только, что добродушный каламбур «Гей ты, моя Генриетточка» попал впоследствии в прославленную записную книжку. А главное, как не вспомнить печальное и очень значительное замечание Ильфа о стиле приведенного здесь письма: «Да, надо бы проще, но проще у меня никогда не получится. . .»

К счастью, Ильф ошибался. Нужно было счастливое соединение для того, чтобы получилось по-другому. И как знать, может быть, уже тогда Ильф жадно ждал друга, которого нашел позже. . .

3. ПРИЗНАНИЕ

Не скажу с уверенностью, где, в каком доме, было это. Почему-то кажется мне, что чтение было назначено в боковых служебных комнатах театра Вахтангова. В этот вечер, впервые после долгого молчания, Бабель обещал прочесть свои новые рассказы. . . Здесь мы встретились с Ильфом и вместе стали ждать появления земляка.

Бабель подымался по лестнице, окруженный друзьями. Мы увидели в толпе покатые плечи и лохматую, начинающую седеть голову Багрицкого.

Бабель подымался не торопясь, переводя дух, закидывая голову. Его румяное лицо, как всегда, казалось веселым. С толпой вошел оживленный говор. Но веселость

Исаака Эммануиловича была обманчивой. Предстоящее дело, очевидно, заботило его.

Охотников послушать Бабеля собралось много. Начали без запоздания.

Создатель трагических рассказов любил и умел шутить. Помнится, и тут тоже, проверяя готовность слушать его, он начал какой-то шуткой. Потом, сразу став серьезным, поправил очки и, заново наливаясь румянцем, приступил к чтению.

— «Гюи де Мопассан»,— сказал Бабель и начал читать.

Бабель читал в знакомой нам манере, не изменяя ей,— неторопливо, внятно, свободно передавая ощущение слова.

Вторым был прочитан рассказ «Улица Данте».

Не замечая, как и другие, легкого шороха внимания, окружающего нас, я вслушивался в звуки чтения, с интересом следил за развитием сюжета — и чувствовал недоумение. Больше того — я был озадачен: то, о чем повествовал Бабель, казалось мне не заслуживающим серьезного рассказа. Особенно озадачил меня рассказ о том, как бедствующий, нищий автор заодно с богатой петроградской дамой переводили «Признание» Мопассана.

Выразительность эротической сцены обожгла воображение, но как и чем это достигалось? Я не оценил ни тонкого заимствования из мопассановской новеллы, ни всего чудно-музыкального строения рассказа Бабеля.

Чтение кончилось. Чувство недоумения не оставляло меня, но вместе с тем не оставило меня и то мне непонятное, что — слово за словом — откладывалось и накапливалось во мне во время чтения. Публика расходилась. Ильф, счастливо блестя улыбкой и крылышками пенсне на глазах, поставленных слегка вкось, вздохнул и сказал застенчиво:

— Хорошо темперированная проза. Действует как

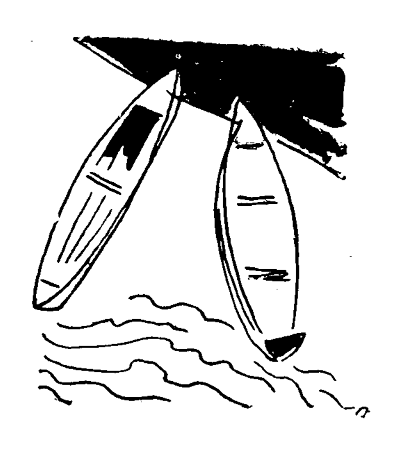
музыка, а как просто! Вот вам еще одно свидетельство, что дело не в эпитетах. С этим нужно обращаться экономно и осторожно: два-три хороших эпитета на страницу — не больше, главное — жизнь в слове...

Я промолчал.

Как всегда, в, казалось бы, непоправимо грубых ошибках молодости именно эта молодость служит нам единственным и счастливо-убедительным оправданием. Видимо, и на сей раз молодость еще не умела в негромком услышать важное, в малозаметном увидеть истину. Ильф — он был старше меня лет на пять-шесть — был уже зрелым, его душа уже была в движении...

Прошло, однако, еще пять-шесть лет,— и вот дивное дело: отыскивая и сочетая слова, фразы и строчки, прислушиваясь к их звукам и смыслу, к ритмам пауз, означенных запятой или точкой, я то и дело слышал среди интонаций, идущих из каких-то светлых запасов памяти, музыку речи, и я радостно узнавал знакомые созвучия, верил им и подчинялся.

Вероятно, это справедливо. Вероятно, так и должны говорить друг с другом поэты... Но не довольно ли признаний? «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя...»



Т. ЛИШИНА ●

ВЕСЕЛЫЙ, ГОЛЫЙ, ХУДОЙ

Не помню, где мы — дружная компания, состоявшая из трех девушек, только что окончивших школу и пишущих стихи,— познакомились летом 1920 года в Одессе с Ильфом. Скорее всего, это было в «Коллективе поэтов», где до поздней ночи бурно обсуждались стихи, или в кафе поэтов «Пэон четвертый».

Мы еще не знали, что этот «Пэон» означает. Мы это узнали позже, когда вместе с другими принялись распевать не очень складную песенку, сочиненную Багрицким: «Четвертый пэон — это форма стиха, но всякая форма для мяса нужна, а так как стихов у нас масса, то форма нужна им как мясо».

Ильф часто бывал на собраниях поэтов. Худощавый, в пенсне без оправы, с характерным толстогубым ртом и с черным родимым пятнышком на нижней губе, он обычно сидел молча, не принимая никакого участия в бурных поэтических дискуссиях. Но стоило только кому-нибудь прочесть плохие стихи, как он делал с ходу меткое замечание, и оно всегда било в самую точку.

Как-то не очень одаренный поэт прочел любовные стишки, где рифмовалось «кочет» и «хочет», Ильф с места переспросил: «Кто хочет?» И восклицание это надолго пристало к поэту.

Ильфа побаивались, опасались его острого языка, его умной язвительности. Никто не знал, что он пишет сам: стихи или прозу. Было известно, что он брат талантливого художника и что служит он статистиком в Губземотделе. Но его абсолютный слух к стихам и нетерпимость к пошлости, ложному пафосу, нарочитым стилистическим красивостям признавались безоговорочно.

Непримиримость Ильфа к любому проявлению пошлости в искусстве и в быту общеизвестна, но я могу засвидетельствовать, что это было ему свойственно в самые ранние годы. Вернувшись из первой поездки в Москву, он рассказывал, очень волнуясь, что на Петровке в витринах нэповских кондитерских появились торты, украшенные революционными лозунгами.

— Подумать только, что слова, написанные некогда кровью, теперь написаны сахаром! — возмущался он.

Ильф очень хорошо относился к нам, молодым, сначала очень робевшим на поэтических собраниях. Много позже мы узнали, что он называл нас «Белинской колонией недотрог» (жили мы все на улице Белинского и были очень застенчивы).

Не слышавши еще ни одной лекции по литературе и искусству, мы впервые от Ильфа узнали о Стерне и Рабле, Франсуа Вийоне и Артюре Рембо, Саади и Омаре Хайяме, Домье, Гаварни, Федотове. Он приносил нам старые номера «Вестника иностранной литературы», читал понравившиеся страницы. Книги он любил самозабвенно, но берег их не только для себя, а для того, чтобы о них можно было рассказать и дать прочесть другому.

Рассказчик он был превосходный. Из вечера в вечер, когда я болела, он рассказывал придуманную им занимательную историю о голубом бри́ллианте (он почему-то произносил это слово с ударением на первом слоге). В этом рассказе, так и не законченном из-за моего выздоровления, помнится, были груды бриллиантов, среди которых надо было найти единственный голубой, обладавший великой силой исцеления всех болезней; были прекрасные руки какой-то леди, топор палача, голодные бунты нищих, часы Вестминстерского аббатства, погоня за похитителями в дилижансах, фиакрах, омнибусах. Обо всем этом рассказывалось весело, занимательно, замысловато. . .

С ним было нелегко подружиться. Нужно было пройти сквозь строй испытаний — выдержать иногда очень язвительные замечания, насмешливые вопросы. Ильф словно проверял тебя смехом — твой вкус, чувство юмора, умение дружить,— и все это делалось как бы невзначай, причем в конце такого испытания он мог деликатно спросить: «Я не обидел вас?»

Смешное он видел там, где мы ничего не замечали. Проходя подворотни, где висели доски с фамилиями жильцов, он всегда читал их и беззвучно смеялся. Запомнились мне фамилии Бенгес-Эмес, Лейбедев, Фунт, которые я потом встречала в книгах Ильфа и Петрова.

Если Ильф хотел похвалить человека, он говорил о нем: веселый, голый, худой. «Веселый — талантливый, все понимает; голый — ничего не имеет, не собственник; худой — не сытый, не благополучный, ничем не торгует», — объяснял он.

Ильф жил трудно, в большой семье скромного бухгалтера. Дома была полная неустроенность, болела мать, не было дров, воды в голодной и холодной тогда Одессе. Но по тому, как он держался, никак нельзя было предположить этих трудностей жизни.

Худой, он совсем истоньшился — щеки впали и еще резче выступили скулы, но вместе с тем всегда был подтянут, чисто выбрит и опрятен и никогда не терял интереса к окружающему, к литературной жизни.

В Одессе, только несколько месяцев назад освобожденной от белогвардейцев, почти все население голодало. Местные власти организовали для писателей бесплатные обеды. Ложка ячневой каши и кружка желудевого кофе с конфеткой на сахарине — это все, что могла дать молодая советская власть пишущей братии. После такого обеда сосущее чувство голода оставалось. Как-то поздно мы возвращались с литературного вечера, Ильф пошел проводить меня. Ноги у меня подкашивались, — видимо, сказывалось длительное недоедание. Ильф внимательно присматривался ко мне. «Кажется, сегодня голоден не только я, но и вы?» Не дожидаясь ответа, он подошел к маленькой будочке с нехитрым товаром из семечек и липких кустарных сладостей. Хозяин, румяный перс, навешивал ставни, чтобы закрыть будку на ночь. Ильф молча вынул из кармана большой перочинный нож и протянул его персу. Тот испуганно отшатнулся: «Иди, пожалста! Ай-ай-ай, как нехорошо. . . Зачем нож?» Ильф успокоил его: «Я же вам дарю нож, а вы нам тоже пода-

рите чего-нибудь». Перс сразу повеселел и дал нам какую-то ерунду, хотя нож был хороший.

Иногда Ильф мечтал вслух: «Неужели будет время, когда у меня в комнате будет гудеть раскаленная чугунная печь, на постели будет теплое шерстяное одеяло с густым ворсом, обязательно красное, и можно будет грызть толстую плитку шоколада и читать толстый хороший роман?»

Пока же он в полной мере олицетворял свой человеческий идеал: был веселый, голый и худой.

Нельзя сказать с уверенностью, что Ильф ничего не писал до того дня, когда, вернувшись в 1921 году из поездки в Харьков, куда он ездил с Эдуардом Багрицким и поэтом Эзрой Александровым, прочел нам свой первый рассказ. Помню только, что там шла речь о девушках, «высоких и блестящих, как гусарские ботфорты», и на одной из девушек была «юбка, полосатая, как карамель». Помню и такую фразу: «Он спустил ноги в рваных носках с верхней полки и хрипло спросил: «Евреи, кажется, будет дождь?»

Ильфа очень печалило, что все его друзья покидают Одессу один за другим. Он писал мне: «Уезжают на север и направляются к югу, восток привлекает многих, между тем как некоторые стремятся к западу. Есть еще такие, о которых ничего не известно. Они приходят, говорят «прощайте» и исчезают. Их след — надорванная страница книги, иногда слово, незабываемое и доброе, и ничего больше. Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чем мне писать, если не писать все о том же?»

Шел 1923 год. Ильф тоже начал готовиться к переезду в Москву. Незадолго до отъезда мы сидели с ним на ступеньках одного из разрушенных оползнями домов на Черноморской улице. Он прощался с морем, с юно-

стью, но не позволил себе ни одного лишнего слова, был, как всегда, сдержан, только, пожалуй, молчаливее обычного.

Встретились мы с ним уже в 1926 году, в Ленинграде, куда он приехал после возвращения из Средней Азии. Оживленный, веселый, загорелый, он очень возмужал и окреп. Хотя, по его словам, впечатления еще не отстоялись, но слушать его, как всегда, было очень интересно. Мы увидели узенькие улочки Бухары и Самарканда, мечети и базары, верблюдов и пески пустынь, рельсы новых путей, глаза женщин в глухой парандже, школьниц с множеством косичек до пят и в пионерских галстуках. Он свободно оперировал цифрами новой экономики, цитировал материалы рабкоровских заметок, приводил примеры героизма и расточительства. Восхищаясь работой молодых строителей новой Азии, он возмущался недостатками и грозился расправиться с ними в газете. В его рассказах был виден не только блестящий стилист и рассказчик, но человек, который много и хорошо видит, угадывался наблюдательный автор будущих очерков и фельетонов, и вместе с тем острословие и юмор, умение сдвинуть понятия так, чтобы слова зазвучали по-новому, придать им новый смысл,— все это отточилось еще больше. В этот приезд в Ленинград ему нужно было по делам в Облпрофсовет. Я рассказала ему, как проехать на бульвар Профсоюзов (так назывался бывший Конногвардейский бульвар), а вечером услышала:

— Почему вы не сказали прямо, чтобы я искал Бульвар профсоюзных конногвардейцев,— это было бы проще. . .

В 1933 году мы увиделись с Ильфом в Москве, когда он уже был известным писателем. Но это не мешало ему по-прежнему участливо интересоваться жизнью ленинградских друзей, подробно расспрашивать о детской кинематографии, где я тогда работала. Я поделилась с ним планом ленинградских кинодеятелей объединить молодежные и детские кинотеатры в один огромный комбинат.

Поблескивая глазами из-за стекол пенсне, он с непередаваемо лукавой интонацией заметил:

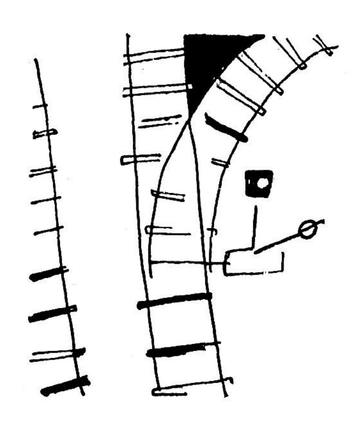
— Пышно, очень пышно. . . А детям это нужно? Вы уверены?

Интересно отметить, что хотя это объединение было создано, но просуществовало очень недолго и быстро распалось именно из-за своей пышной нецелесообразности.

Прощаясь, я спросила Ильфа, доволен ли он своей жизнью, достаточно ли в ней буйства, нежности и путешествий. Он усмехнулся, как всегда немного грустно:

— Вы не забыли мечту моей юности! Буйства, вернее, работы хватает. Нежность меня не обошла. И путешествия были, а сколько их еще впереди!

Он не знал, как и никто из нас, что следующее путешествие — в Америку — будет для него последним.



КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ • ЧЕТВЕРТАЯ ПОЛОСА

После возвращения с юга в Москву я долго бродил по разным редакциям в поисках работы.

Однажды в редакции «Гудка» я встретил Виктора Шкловского. Он остановил меня и сердито сказал:

— Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться.

— У меня нет письменного стола. Я не Ротшильд!

— Тогда к кухонному! — крикнул он и исчез в соседней комнате.

Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, впрок. Мы с ним не были еще знакомы.

В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди

в тогдашней Москве — сотрудники «Гудка» Илья Ильф, Олеша, Булгаков и Гехт. Склонившись над столами и посмеиваясь, они что-то быстро писали на узких полосках бумаги, на так называемых гранках.

Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Сопли и вопли».

В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.

Сотрудники «четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ — то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных читателей ошеломляли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу!», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв — портит нерв».

Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.

В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «Могучая когорта» (так они себя шутливо называли) молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность.

В комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. Очень учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин торопливо рассказывал последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский и с жестоким напором прославлял Маяковского и Велемира Хлебникова.

Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали тяжким и зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов — ледяным сарказмом.

Мирились только с одним хрипучим и живописным халтурщиком — репортером по прозвищу «Капитан Чугунная Нога». У него действительно была искусственная, железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимали ноги под стулья.

Меня в этой страшноватой комнате встретили сравнительно спокойно, — может быть, потому, что я дружил с Бабелем. Для сотрудников «четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.

— Творятся неслыханные дела! — говаривали они. — Из Одессы прибыл выдающий писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель Мопассан!

Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им, — казалось, он знал на ощупь вес каждого слова.

Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал:

— Ну что? Поговорим за веселое? Или как?

И начинался блестящий и неистощимый разговор, который остальные сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном» и «Шехерезадой».

Это было похоже на волшебную золотую нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других свалявшихся разноцветных ниток, потянуть за нее, и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а по-

том и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие, как будто ненужные, но интересные вещи.

Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников — у Ильфа или Олеши. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.

Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был необыкновенный и шипучий фольклор тех лет.

Я знал мастеров устного рассказа — Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они были щедрыми, даже расточительными людьми. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезают почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.

Я назвал только рассказчиков-писателей. Но я встречал множество превосходных рассказчиков и среди людей других профессий, — от капитана дальнего плавания Зузенко до хитрого, как бес, днепропетровского рыбака-браконьера. Он называл себя «Тот самый дид Микола с тех самых Плютов» (Плюты — тихая деревня на речных песках к югу от Киева).

К суткам надо бы прибавить несколько часов, чтобы мы могли записывать множество неожиданных устных рассказов. Записывать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».

Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака и польского беллетриста Крашевского, автора свыше двухсот романов) не может работать свежо и в полную силу

больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, пока он не напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать только часть того, что могли бы.

Извините, я, как всегда, отвлекся.

В «четвертой полосе» мне давали кое-какую работу. Там я неожиданно встретил Евгения Иванова — нашего, одесского Женю Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова на севастопольском памятнике, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету, называется она «На вахте», а редакция ее помещается этажом выше.

Тут же Женя предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил, что название газеты мне не нравится. Что это за названия — «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»?

Женя не обиделся. Он принял мои слова как обычное зубоскальство.

«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце Труда, на набережной Москвы-реки, около Устьинского моста.

До революции во Дворце Труда был Воспитательный дом — всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.

Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом — «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.

То был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводив-

шими страх, парадными залами и даже с бывшей домовой церковью.

Во Дворце Труда жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже почти забытых.

Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца Труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей разных профессий — работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же, не выходя из стен Дворца Труда, они получали в редакциях гонорары за эти стихи и поэмы и пропивали их в столовой на первом этаже. Там даже подавали пиво.

В столовой под старинными сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному — или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелки с мутным супом.

Многие из нас мечтали, конечно, о глянцевитых черно-зеленых коробках «Герцеговина Флор», но покупать эти дорогие толстые папиросы большинство из нас могли только в дни получек.

На столиках в столовой стояли гортензии — шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Они напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.

Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день

мы собирались в ней, пили остывший рыжий кофе и много шумели.

По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел вялый снег.

Как-то я сидел таким утром в столовой и дописывал рассказ «Этикетки для колониальных товаров».

Неожиданно вошел Бабель. Я быстро накрыл исписанные листки газетой, но Бабель подсел к моему столику, спокойно отодвинул газету и сказал:

— А ну, давайте! Я любопытен до безобразия.

Он взял рукопись, близоруко поднес к глазам и прочел вслух первую фразу:

— «Вам, между прочим, не кажется, что этот закат освещает отдаленные горы, как лампа?»

Когда он читал, у меня от отчаяния и смущения похолодела голова.

— Это Батум? — спросил Бабель.— Да, конечно, милый Батум! Раздавленные мандарины на булыжнике и разноголосое пение водосточных труб. . . Это у вас есть? Или будет?

Этого у меня в рассказе не было, но я от смущения сказал, что будет.

Бабель собрал в уголках глаз множество мелких морщин и весело посмотрел на меня.

— Будет? — переспросил он.— Напрасно.

Я растерялся.

— Напрасно! — повторил он.— По-моему, в таком деле не стоит доверять чужому глазу. У вас свой глаз. Я ему верю и потому не позаимствую у вас ни запятой. Зачем вам рассказы с чужим привкусом? Мы слишком любим привкусы, особенно западные. У вас привкус Конрада,

у меня — Мопассана. Но мы ведь не Конрады и не Мопассаны. Да, кстати, в первой фразе у вас есть три лишних слова.

— Какие? — спросил я.— Покажите!

Бабель вынул карандаш и твердо вычеркнул слова. «Между прочим», «этот» (закат) и «отдаленные» (горы). После этого он снова прочел исправленную первую фразу:

— «Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?» Так лучше?

— Лучше.

— Разные бывают лампы,— вскользь заметил Бабель.— А Батума нам не хватает. Помните темный буфет в пассажирском пароходном агентстве? Когда запаздывал пароход из Одессы, я сидел там и ждал часами. Было очень пусто. На пристани лежали штабелями сосновые доски. Скипидарные. По воде шлепал дождь, и мы пили потрясающий черный кофе. Щеки горели от морского зимнего воздуха, а на душе было грустно. Потому, что красивые женщины остались на севере.

За нашей спиной прозвенела расшатанная застекленная дверь. Бабель оглянулся и испуганно сказал:

— Спрячьте рассказ! Надвигается «Могучая когорта»!

Я успел спрятать рукопись. Вошли Гехт, Ильф, Олеша и Регинин. Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что «Огонек» решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но меня почему-то считали одесситом,— очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для этого сборника предисловие. Я знал еще по Одессе всех, кто сидел сейчас рядом за столиком, но здесь они казались другими. Шум

Черного моря отдалился на сотни километров, загар побледнел от зимних туманов. Кто знает, если бы все они не были пропитаны с детства морем, солнцем, причудливым бытом и юным весельем, то из них вышли бы совсем другие, более спокойные и сумрачные писатели.

Особенно интересовал меня Ильф — немногословный, со слегка угловатым, но привлекательным лицом. Большие губы делали его похожим на негра. Он был так же высок и тонок, как негры из племени Мали — самого изящного черного племени в Африке.

Больше всего поражали меня чистота его глаз, их блеск и пристальность. Блеск усиливался от толстых небольших стекол пенсне без оправы. Стекла были очень яркие, будто сделанные из хрусталя.

Ильф был застенчив, но прям, меток, порой беспощадно насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких — тех, кого легко обидеть. Как-то при мне в большом обществе он холодно и презрительно срезал нескольких крупных актеров, которые подчеркнуто замечали только его, Ильфа, но не замечали остальных, простых и невидных людей. Они просто пренебрегали ими. Это было после головокружительного успеха «Двенадцати стульев». Ильф назвал поведение этих актеров подлостью.

У него был микроскопический глаз на пошлость. Поэтому он замечал и отрицал очень многое, чего другие не замечали или не хотели замечать. Он не любил слов: «Что ж тут такого?» Это был щит, за которым прятались люди с уклончивой совестью.

Перед ним нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей, и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи сразу приходили

в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.

Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались чрезмерно резкими, но почти всегда они были верными. Однажды он вызвал замешательство среди изощренных знатоков литературы, сказав, что Виктор Гюго по своей манере писать напоминает испорченную уборную. Бывают такие уборные, которые долго молчат, а потом вдруг сами по себе со страшным ревом спускают воду. Потом помолчат и опять спускают воду с тем же ревом.

Вот точно так же, сказал Ильф, и Гюго с его неожиданными и гремящими отступлениями от прямого повествования. Идет оно неторопливо, читатель ничего не подозревает,— и вдруг как снег на голову обрушивается длиннейшее отступление — о компрачикосах, бурях и океане или истории парижских клоак. О чем угодно.

Отступления эти с громом проносятся мимо ошеломленного читателя.

Но вскоре все стихает, и снова плавным потоком льется последовательный рассказ.

Я спорил с Ильфом. Мне нравилась манера Гюго. Я думал тогда — и думаю это и сейчас,— что повествование должно быть совершенно свободным, дерзким, что единственный закон для него — это воля автора.

Об этом и многом другом мы спорили в сумрачной столовой. Пришла сырая зима. В два часа уже зажигали электричество, снег за окнами становился синим. Уличные фонари желтели, гортензии на столиках оживали и покрывались в свете лампочек слабым румянцем. Регинин утверждал, что цветы, как и люди, стали неврастениками.

Всем известно, что неврастеники мутно и расслабленно проводят день, а к вечеру веселеют и расцветают.

Однажды в столовую вошел с таинственным видом Семен Гехт.

Я познакомился с ним в редакции «На вахте». Он приносил туда очерки о маленьких черноморских портах. Не об Одессах, Херсонах и Николаевах, а о таких приморских городках, как, скажем, Очаков, Алешки, Голая Пристань или Скадовск. Там пароходы подваливали к скрипучим шатким пристаням, облепленным рыбьей чешуей.

Очерки были лаконичные, сочные и живописные, как черноморские гамливые базары. Написаны они были просто, но, как говорил Женя Иванов, «с непонятным секретом».

Секрет этот заключался в том, что очерки эти резко действовали на все пять человеческих чувств.

Они пахли морем, акацией и нагретым камнем-ракушечником.

Вы осязали на своем лице веяние разнообразных морских ветров, а на руках — смолистые канаты. В них между волокон пеньки поблескивали маленькие кристаллы соли.

Вы чувствовали вкус зеленоватой едкой брынзы и маленьких дынь канталуп.

Вы видели все со стереоскопической выпуклостью, даже далекие, совершенно прозрачные облака над Кинбурнской косой.

И вы слышали острый и певучий береговой говор ничему не удивляющихся, но смертельно любопытных южан, — особенно певучий во время ссор и перебранок.

Чем это достигалось, я не знаю. Очерки почти забыты, но такое впечатление о них осталось у меня до сих пор в полной силе.

Есть люди, которые, независимо от того, много или мало они написали, являются писателями по самой своей

сути, по составу крови, по огромной заинтересованности окружающим, по общительности, по образности мысли.

У таких людей жизнь связана с писательской работой непрерывно и навсегда. Таким человеком и писателем был и остается Гехт.

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто ни о чем не спрашивал.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот! — сказал он.— Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

— Да оно же короче воробьиного носа,— заметил кто-то.— Просто отписка!

Гехт возмутился:

— Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно самого короткого, предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг поэт Осип Колычев.

Вот это предисловие:

«В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

. . .Вот семь молодых одесситов. . . Гехт пишет об уездном Можайске как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене.

Душевным и чистым голосом подпевает им Паустов-

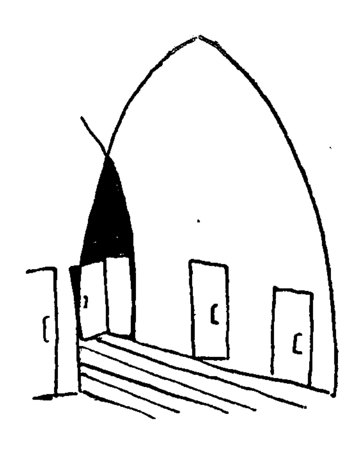
ский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песке варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани, у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда — в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством».



МИХАИЛ ШТИХ (М. ЛЬВОВ) ●

В СТАРОМ «ГУДКЕ»

Бесконечные сводчатые коридоры Дворца Труда — точные прообразы тех, по которым будет метаться вдова Грицацуева в погоне за Остапом... За одной из сотен дверей большая комната с выбеленными стенами, столы и стулья казенно-спартанского образца. И в той же комнате, по неодобрительному замечанию старой гудковской курьерши, «шесть здоровых мужиков ничего не делают, только пишут». Здесь обитает редакционный отдел, заполняющий своей продукцией четвертую — зубодробительную — полосу «Гудка». Из шести «здоровых мужиков» трое — так называемые литобработчики. Илья Ильф, Борис Перелешин и я. Мы делаем из рабкоровских писем злые фельетонные заметки о бюрократах, пьяницах и

прочих лиходеях транспорта. Остальные делают свое: Овчинников руководит, художник Фридберг тут же рисует к нашим заметкам устрашающие карикатуры. Олеша пишет в номер очередной стихотворный фельетон.

Юрий Олеша — самый знаменитый автор «четвертой полосы». Под своим грозным псевдонимом «Зубило» он так популярен среди железнодорожников, что где-то уже появился лже-Зубило — прохвост, смертельно напугавший двух-трех начальников станций и поживившийся на их испуге.

А Ильфа еще мало знают. Под своими блестящими фельетонными миниатюрами он скромно ставит подписи рабкоров, и только гудковцы угадывают за этими пестрыми подписями подлинного автора.

Помню, как мы до колик хохотали над двумя заметками Ильфа. Одна из них называлась — «Под бородой Николы-угодника» и повествовала о делах железнодорожного клуба, где со стены неодобрительно взирали на культработу благолепные лики святых. В другой заметке был обыгран эффектный случай, происшедший на спектакле станционного драмкружка. Там по ходу действия должен был появиться с громовым монологом главный злодей, белогвардейский генерал Барклаев. Появление состоялось, но монолога не последовало. Генерал повел осоловелыми глазами по рядам зрителей, громко икнул и с грохотом растянулся посреди сцены. Из-за кулис выбежал взлохмаченный режиссер, начал его тормошить, ругать, уговаривать. Но генерал ни на что не реагировал. Он был мертвецки пьян.

Ильф озаглавил эту заметку так: «Крупный разговор с трупом генерала Барклаева».

Перед Первым всесоюзным съездом рабкоров «Гудка» нам велели использовать на полосе как можно больше

рабочих писем. Счет пошел не только на качество, но и на количество. Когда мы утром просматривали очередной номер газеты, каждый ревниво подсчитывал свою лепту. И тут подчас обнаруживались удивительные вещи. Вдруг оказывалось, что в какую-нибудь подборку о банях или общежитиях — размером около двухсот строк — Ильф ухитрялся втиснуть двадцать пять—тридцать рабкоровских заметок. Ну что, скажите на милость, может получиться из такой «прессовки» с точки зрения газетно-литературных канонов? Инвентарный перечень адресов и фактов? А получался отличный острый фельетон со стремительно развивавшимся «сквозным действием». И даже скупой на похвалы, требовательный «папаша» — Овчинников говорил, просияв своей ослепительной белозубой улыбкой: «Очень здорово!».

Соседство «четвертой полосы» вводило в соблазн некоторых сотрудников производственного отдела. Над подборками сугубо деловых заметок о ремонте пути или горячей промывке паровозов стали появляться игривые заголовки: «Ухабы и прорабы», «Брызги и искры», «Помехи и прорехи». Вот на эту самую профанацию и откликнулась «четвертая полоса» учреждением обличительной стенной скрижали под названием «Сопли и вопли».

Начавшись с «Помех и прорех», эта стенная выставка газетных ляпсусов быстро пополнялась все новыми и новыми экспонатами. Их вылавливали и со страниц самого «Гудка» и из многих других газет. Улов бывал особенно впечатляющим, когда попадались какие-нибудь халтурные очерки или рассказы «из рабочей жизни». Как вам понравятся такие, например, шедевры:

«Игнат действительно плевал с ожесточением и лез с горя от своей малограмотности на печь»...

«Но время шло, а параллельно улетала и молодость Ивана Егоровича»...

«Нельзя ли тебе будет моего сынка на работу устроить? А то ничагусеньки он не делаить, знай себе по улицам шлындаить, прямо пропадет хлопчик зря».

Эта штука с хлопчиком особенно понравилась Ильфу. Бывало, среди дня задержится Олеша (или кто-нибудь из нас) у таких же словоохотливых соседей, Овчинников постучит карандашом по столу, скажет укоризненно: «Юрий Карлович, время, время! Надо материал сдавать!» И Ильф, посмеиваясь, подхватывает, тянет нараспев:

— А и ничагусеньки он не делаить, знай себе по редакции шлындаить!

Усердным собирателем «гвоздей» для выставки ляпов был Евгений Петров, работавший тогда в профотделе «Гудка». Он входил к нам в комнату с комически таинственными ухватками школьника, который несет в ладонях, сложенных лодочкой, редкостного жука. И «жук» выдавался нам в замедленном, церемониальном порядке, чтобы хорошенько помучить ожиданием. Так, между прочим, были торжественно сданы и приняты прелюбопытнейшие вырезки из отдела объявлений «Вечерки».

Там обнаружилось очень оригинальное явление: нэпман-стихотворец. Это был владелец крупнейшего в Москве частного угольно-дровяного склада Яков Рацер. Он рекламировал свой товар в таком духе:

Чистый, крепкий уголек —
Вот чем Рацер всех привлек!

А в один прекрасный день очередной образец рекламно-дровяной поэзии разросся до нескольких строф с рефренами и мистическим уклоном. Убеленный седи-

нами нэпман вел задушевную беседу с неким духом. Он сетовал, что уже стар, утомлен, что ему, дескать, уже время лежать на погосте и он в лучший мир уйти готов. Но. . .

Дух в ответ шипит от злости:
— В лучший мир успеешь в гости.
Знай снабжай саженью дров!

— Куда будем это наклеивать? — деловито сказал Ильф.

Наклеивать было некуда. «Сопли и вопли» и их филиал под названием «Приличные мысли» были уже полны. И на стене появилась новая многообещающая скрижаль: «Так говорил Яков Рацер».

К этим настенным «обличителям зла» частенько наведывались руководящие работники редакции Гутнер и Потоцкий. Они мотали себе на ус то, что касалось здесь непосредственно «Гудка», и очень верили в остроту́ нашего глаза и оперативность. Но однажды Август Потоцкий влетел к нам в комнату не на шутку рассерженный.

— Ребята, вы сук-кины дети! — объявил он со своей обычной прямотой.— Ло́вите блох черт знает где, а что у вас под носом происходит, не видите.

— А что у нас происходит под носом, Август? — спросили мы.

— Посмотрите, как ваш друг Михаил Булгаков подписывает уже второй фельетон!

Посмотрели: «Г. П. Ухов». Ну и что ж тут такого?

— Нет, вы не глазом, вы вслух прочтите!

Прочитали вслух. . . Мамочки мои! «Гепеухов»! М-да, действительно. . .

Мы были обескуражены, а Булгаков получил по за-

слугам и следующий свой фельетон подписал псевдонимом — «Эмма Б.».

Впрочем, в те времена бывали всякие шуточки.

Летом 1926 года москвичей ошарашили расклеенные на улицах большие газетные листы. На них крупным шрифтом было напечатано:

«Экстренный выпуск.— Война объявлена.— Страшная катастрофа в Америке.— Небывалое наводнение...»

И так далее, в том же роде.

И только при ближайшем рассмотрении кошмарного газетного листа перепуганный прохожий начинал приходить в чувство: война была объявлена... бюрократизму, волоките и расхлябанности — редакцией журнала «Смехач». Все дальнейшие страсти-мордасти также оказывались «юмористическими приемами» агитации за подписку на «Смехач».

От такого антраша ленинградских сатириков даже видавшие виды гудковцы содрогнулись.

Есть в «Двенадцати стульях» главы и строки, которые я воспринимаю как бы двойным зрением. Одновременно видимые во всех знакомых подробностях, возникают бок о бок Дом народов и бывший Дворец Труда, вымышленный «Станок» и реальный «Гудок», и многое другое. Так вот получается и с главой об авторе «Гаврилиады»: один глаз видит Никифора Ляписа, а в другом мельтешится его живой прототип — точь-в-точь такой, как у Ильфа и Петрова: «очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом».

Если б он мог предвидеть последствия опасных зна-

комств, он бежал бы от нашей комнаты как от чумы. Но он находился в счастливом неведении. Он приходил к нам зачастую в самое неподходящее время и, подсаживаясь то к одному, то к другому, усердно мешал работать. Чаще всего развязный Никифор (оставим уж за ним это звучное имя!) хвастался своими сомнительными литературными успехами. Халтурщик он был изрядный. Что же касается дремучего невежества, то в главе о «Гаврилиаде» оно ничуть не было преувеличено.

Однажды Никифор страшно разобиделся на нас. Он вошел сияющий, довольный собой и жизнью и гордо объявил:

— Я еду на Кавказ! Вы не знаете, где можно достать шпалер?

Мы ответили вопросом на вопрос:

— А зачем вам шпалер, Никифор?

Тут-то он и сделал свое знаменитое откровение насчет шакала, который представлялся ему «в форме змеи».

Но дело на этом не кончилось. Никифор решил взять реванш за шакала.

— Смейтесь, смейтесь! — запальчиво сказал он.— Посмотрим, что вы запоете, когда я кончу свою новую поэму. Я пишу ее дактилем!

— Послушайте, друг мой,— сказал елейным голосом Перелешин,— я хочу вас предостеречь. Вы так можете опростоволоситься в литературном обществе.

— А что такое? — встревожился Никифор.

— Вот вы говорите — дактиль. Это устарелый стихотворный термин. Теперь он называется не «дактиль», а «птеродактиль».

— Да? Ну, спасибо, что предупредили, а то в самом деле могло выйти неловко. . .

— Никифор,— сказал сердобольный Константин Нау-

мыч, наш художник,— Перелешин вас разыгрывает. Птеродактиль — это допотопный ящер.

— Ну что вы мне морочите голову!

— Никифор,— подхватил из своего угла Олеша.— Константин Наумыч вас тоже запутывает. Он говорит — «ящер», а ящер — это болезнь рогатого скота. Надо говорить — «допотопный ящур». Понятно? Ящер — это не ящур, а ящур — не ящер.

«Гром пошел по пеклу». Никифор выбежал вон и с яростью хлопнул дверью.

Впрочем, это был не последний его визит. Он прекратил свои посещения лишь после того, как узнал себя в авторе «Гаврилиады». Не мог не узнать. Но это пошло ему на пользу. Парень он был способный и в последующие годы, «поработав над собой», стал писать очень неплохие стихи.

. . .А теперь об одном случае, который связан с «Голубым воришкой». Пожалуй, он в какой-то мере может дополнить наше представление о творческой лаборатории Ильфа и Петрова. . .

Было так. Мы с Ильфом возвращались из редакции домой и, немножко запыхавшись на крутом подъеме от Солянки к Маросейке, медленно шли по Армянскому переулку. Миновали дом, где помещался военкомат, поравнялись с чугунно-каменной оградой, за которой стоял старый двухэтажный особняк довольно невзрачного вида. Он чем-то привлек внимание Ильфа, и я сказал, что несколько лет назад здесь была богадельня. И, поскольку пришлось к слову, помянул свое случайное знакомство с этим заведением. Знакомство состоялось по способу бабка — за дедку, дедка — за репку. Я в то время был еще учеником Московской консерватории, и у меня была сестра-пианистка, а у сестры — приятельница, у которой

какая-то родственная старушка пеклась о культурном уровне призреваемых. В общем, меня уговорили принять участие в небольшом концерте для старух... Что дальше? Дальше ничего особенного не было.

Но, к моему удивлению, Ильф очень заинтересовался этой явно никчемной историей. Он хотел ее вытянуть из меня во всех подробностях. А подробностей-то было — раз, два и обчелся. Я только очень бегло и приблизительно смог описать обстановку дома. Вспомнил, как в комнату, где стояло потрепанное пианино, бесшумно сползались старушки в серых, мышиного цвета, платьях и как одна из них после каждого исполненного номера громче всех хлопала и кричала «Биц!» Ну, и еще последняя, совсем уж пустяковая деталь: парадная дверь была чертовски тугая и с гирей-противовесом на блоке. Я заприметил ее потому, что проклятая гиря — когда я уже уходил — чуть не разбила мне футляр со скрипкой. Вот и все. Случайно всплывшая «музыкальная тема» могла считаться исчерпанной...

Прошло некоторое время, и, читая впервые «Двенадцать стульев», я с веселым изумлением нашел в романе страницы, посвященные «2-му Дому Старсобеса». Узнавал знакомые приметы: и старушечью униформу, и стреляющие двери со страшными механизмами; не остался за бортом и «музыкальный момент», зазвучавший совсем по-иному в хоре старух под управлением Альхена.

Но, разумеется, главное было не в этих деталях, а в том, что́ разрослось вокруг них, вернее, было взращено силой таланта Ильфа и Петрова, их удивительным искусством.

И до сих пор я не могу избавиться от галлюцинаций: все чудится, что Альхен и Паша Эмильевич разгуливают по двору невзрачного особняка в Армянском переулке.

Для старого гудковца есть кое-что знакомое и в «Записных книжках» Ильфа. Он вспомнит, например, что фамилия «Пополамов» была названа Ильфу и Петрову, когда они еще подумывали насчет объединенного псевдонима; что за патетической фразой: «Я пришел к вам, как мужчина к мужчине» скрывалась смешная история о том, как три сотрудника «Гудка» вымогали аванс у редактора; и что коротенькая строчка: «Ну, я не Христос» связана с Августом Потоцким.

Но о нем нельзя упоминать мимоходом. О нем можно говорить только так, как всегда говорили Ильф и Петров, и все, кто его знал: с любовью и уважением. Это был человек необычайной судьбы. Граф по происхождению, он встретил революцию как старый большевик и политкаторжанин. Странно было представлять себе Августа (так все мы называли его) отпрыском аристократической фамилии. Атлетически сложенный, лысый, бритый, он фигурой и лицом был похож на старого матроса. Это сходство дополнялось неизменной рубахой с открытым воротом и штанами флотского образца, которые уже давно взывали о капитальном ремонте. А на ногах у Августа круглый год красовались огромные, расшлепанные сандалии.

В таком наряде он и явился однажды по вызову в Наркоминдел. Там, очевидно, подбирали кандидатов на дипломатическую работу, и биография Потоцкого обратила на себя внимание.

— Ну, и что тебе там сказали, Август? — спросили мы, когда он рассказал об этом эпизоде.

Он улыбнулся своей доброй, застенчивой улыбкой:

— Оглядели с головы до ног и обратно и сказали, что я для их работы, очевидно, не подойду.

— Ну, а ты что?

И он, видимо, совершенно точно воспроизвел тон своего ответа, в котором была легкая обида и самокритичная ирония:

— Я им сказал: да, я, конечно, не красавец!

Мы очень радовались, что его не забрали от нас в Наркоминдел. Трудно было представить себе «Гудок» без Августа. Официально он считался заведующим редакцией, но, казалось, у него было еще десять неофициальных должностей и десять неутомимых рук, которые ни минуты не оставались без дела. Только для одного не хватало времени у этих рук: для того, чтобы хоть немножко позаботиться о своем хозяине, который жил как истый бессребреник и спартанец.

За все это, а еще за грубоватую, но необидную прямоту и редкостную душевность коллектив очень любил Августа. И когда он уходил от нас в «Правду», его провожали как близкого, дорогого человека.

У меня сохранилась длинная стихотворная речь Олеши на этих проводах. В ней много юмора и много грусти. В ней и воспоминания о минувших днях «Гудка»:

Когда, меж прочих одинаков,
Пером заржавленным звеня,
Был обработчиком Булгаков,
Что стал сегодня злобой дня. . .

И хотя вечер проводов от тех дней отделяло всего несколько лет,— и Олеше, и нам действительно казалось, что вместе с Августом Потоцким мы провожаем нашу молодость. А он, не стыдясь, закрыл руками лицо и заплакал, когда Олеша прочитал обращенную к нему последнюю строфу:

Коль на душе вдруг станет серо,
Тебя мы вспомним без конца, —
Тебя, с улыбкой пионера
И сердцем старого бойца.

...Да, а что же все-таки скрывалось за той строчкой в «Записных книжках» Ильфа?

Придется уж рассказать, раз мы о ней упомянули. Это совсем коротенькая история, случившаяся в гудковском общежитии, которое описано в «Двенадцати стульях» как общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Однажды вечером туда ворвался здоровенный пьяный верзила. Потоцкий попытался урезонить хулигана, и тот ударил его.

— Уйди, добром прошу,— сказал Август.

Тот ударил его еще раз.

— Ну, я не Христос,— сказал Август и треснул верзилу так, что тот вышиб спиной дверь и вылетел на лестницу.

Представляю себе, с каким удовольствием записывал Ильф это энергичное изречение нашего милого Августа...

Нельзя сказать, что гудковские сатирики были недостаточно нагружены редакционной работой. Но она шла у них так весело и легко, что, казалось, емкость времени вырастала вдвое. Времени хватало на все. Успевали к сроку сдать материал, успевали и посмеяться так называемым здоровым смехом. Рассказывались всякие забавные истории, сочинялись юмористические импровизации, в которых Евгений Петров и Олеша были великолепными мастерами. Иногда, по молодости лет и от избытка энергии, «разыгрывали» какого-нибудь редакционного простака. Так, одному нашему фотографу, скучавшему в этот день без дела, дали срочное поручение: сфотографировать в НКПСе изобретателя Ньютона. И он довольно долго ходил по разным управлениям наркомата, спрашивая: «Не у вас ли работает товарищ Ньютон?» По-видимому, и там нашлись люди с юмором. Кое-где ему отвечали: «Это ко-

торый Ньютон? Исаак Иваныч? Зайди, голубчик, в паровозное управление, *он, кажется, у них работает*».

Когда злополучный фотограф вернулся в редакцию, чтобы изругать последними словами шутников, они уже были недосягаемы для такой мелкой прозы. Они засели в комнате четвертой полосы и вели там очередной литературный диспут. Наступил час досуга, когда все материалы в номер уже сданы, перья отдыхают, а языки начинают работать в полную силу.

В этот час в комнате четвертой полосы собирался весь литературный цвет старого «Гудка». Кроме Ильфа, Петрова и Олеши здесь были завсегдатаями Катаев, Булгаков, Эрлих, Славин, Козачинский. И — боже ты мой! — как распалялись страсти и с каким «охватом» — от Марселя Пруста до Зощенко и еще дальше — дебатировались самые пестрые явления литературы!

Никого не смущала скудость обстановки. За нехваткой стульев сидели на столах или подпирали спиной главное стенное украшение «четвертой полосы» — цветную карту двух *полушарий* (*опираться на «Сопли и вопли»* и на их филиалы строго воспрещалось). Впрочем, некоторые предпочитали ходить из угла в угол — так было удобнее жестикулировать в пылу спора.

Когда я вспоминаю эти предвечерние часы, перед глазами особенно отчетливо возникает смуглое характерное лицо Евгения Петрова, его юношеская горячность, которая сопутствовала ему до конца дней, и его выразительные, слегка угловатые в движении руки. А рядом, из-за *стола, иронически поблескивают стекла пенсне* Ильфа — он наблюдает за кипением литературных страстей и готовится пустить и свою стрелу в гущу схватки. . .

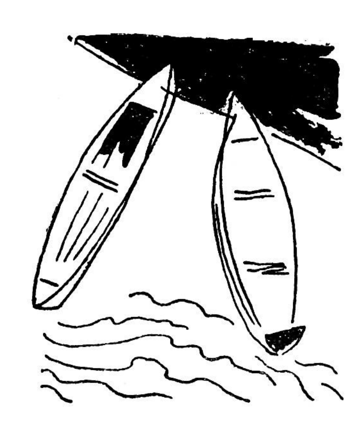
Но время идет, и вот уже Ильфу и Петрову некогда заниматься разговорами о литературе. Они пишут «Две-

надцать стульев». Едва закончив редакционный день, срываются с места и мчатся в маленькую столовку на Варварской площади. А когда мы не торопясь покидаем редакцию и доходим до середины длинной аллеи Дворца Труда, они уже возвращаются обратно: в комнате четвертой полосы их дожидается Остап Бендер. И они спешат, как на поезд.

— До свиданья, бездельники! — приветствуют они нас.— Начинаем новую главу!

Веселые, возбужденные и совсем еще молодые. . .

Такими и хочется сохранить их обоих в памяти: когда у них еще все впереди — и слава, и годы недолгой жизни.



С. ГЕХТ ●

СЕМЬ СТУПЕНЕЙ

1

Начинаешь не всегда с начала. Расскажу прежде всего о поездке с Ильфом по Беломорканалу.

Пароход, на котором мы отчалили от Медвежьей Горы, чтобы осмотреть шлюзы, плотины и другие сооружения Беломорканала, законченного только что, весной 1933 года, отходил от пристани с музыкой. На пароходе вместе с писателями ехали бывшие заключенные, которых освободили по указу в связи с открытием канала. Были инженеры, из тех, кто проектировал канал, были и особо отличившиеся на работе уголовники. Находилось тут и лагерное начальство.

Растолковав писателям принятую на канале систему деления заключенных на политических, уголовников и

«бытовиков», которые отбывали здесь срок за преступления вроде убийства из ревности, начальник лагеря показал нам на степенных лагерных музыкантов. Благообразием своим они решительно отличались от обыкновенных страшных убийц-грабителей.

— Наш оркестр полностью укомплектован из бытовиков,— сказал начальник.

Музыканты играли вальс. Стоявший рядом со мной на палубе Ильф, оглядев щекастых, в синих ватниках, музыкантов, охарактеризовал их кратко:

— Оркестр рогоносцев.

Пока пароход шлюзовался в семи шлюзах Повенчанской лестницы, Ильф с Петровым, с пародистом Архангельским и, по-моему, с Кукрыниксами мастерили веселую пароходную газету под названием «Кубрик». Материал брался из жизни литературной, касался путешествующих на пароходе — и только. Когда группа писателей засела по возвращении за коллективный труд о Беломорканале, Ильф с Петровым разумно отказались от участия в этом труде. О жизни заключенных мы знали мало, наблюдения были поверхностные,— как же браться за описание их житья-бытья, рисовать типы, характеры?

В шуточной же газете Ильф с Петровым составили первым делом перечень запрещенных по причине крайней банальности метафор и образов. Номером первым значились здесь бараньи лбы. Этими бараньими лбами кое-кто уж намеревался блеснуть при описании прибрежных валунов.

Среди освобожденных по указу уголовников был перворазрядный мошенник Желтухин. Похожий на дореформенного помещика, он удивлял москвичей в годы нэпа своей сенаторской бородой, надменностью, псами-волкодавами. Желтухин был реставратором. Однажды ему пору-

чили реставрировать картину Рембрандта. Загрунтовав ее и намалевав на полотне великого мастера натюрмортик, Желтухин вынес ее из мастерской и продал иностранцу.

Мошенничество не удалось. Картину возвратили музею, а Желтухина осудили на десять лет. Пять лет он симулировал сумасшествие. Его содержали в тюремной больнице. На канале он писал диаграммы, портреты ударников. Беседуя с начальством, Желтухин винил в своих бедах одного в то время опального, а прежде видного ответственного работника. Однако игра на выгодной, как сообразил Желтухин, политической ситуации ему не удалась.

На пароходе он был двулик: то прежний барин, вкусно разглагольствовавший о гастрономических утехах, то угодливо улыбавшийся лагерному начальству льстец. Он утомительно восторгался мощью сооружений, смелостью чекистов-строителей, восхищался и природой, разумеется, бараньими лбами валунов, но больше всего талантами начальства.

— Как в сказке, товарищи! — шумел он, рисуясь своей неувядаемой — после стольких передряг — барственностью.

На одной плотине Желтухин воскликнул:

— Только советская власть смогла осуществить это грандиозное сооружение!

Когда же пароход вплыл в озерный простор, он так же утомительно принялся убеждать нас, что завоевание подобных просторов под силу только советской власти.

Как только начальство ушло, Ильф заметил:

— Когда к этому пришли с ордером на арест, он, вероятно, воскликнул: «Только советская власть умеет так хорошо и быстро раскрывать преступления!»

2

На Беломорском канале Ильф и Петров были уже известными литераторами. Познакомились же мы гораздо раньше. Я знал Ильфа в пору его писательской юности. Мы работали с ним в одной газете. Отслужив положенные часы, мы отправлялись бродить по Москве. Ходили на новостройки — поглазеть на несколько домов, что начаты были перед первой мировой войной и теперь достраивались. Таким было, например, здание телеграфа на углу улицы Огарева, здание Моссельпрома на пересечении Кисловских переулков. Ильф говорил о себе: «Я зевака». Я годился ему в попутчики, потому что был таким же. Оговорюсь: зеваками мы становились после работы.

Мы бродили. На улицах тогда было куда свободней, переходить мостовые можно было не торопясь, но в Москве двадцать третьего года тем не менее зрелищ было немало. К лету главным из них сделалась первая советская сельскохозяйственная выставка. Ее открыли на Крымском валу, на пустыре, где теперь Парк культуры и отдыха имени Горького. Я тогда поместил в журнале «Прожектор» корреспонденцию со смешным названием «Творимая легенда Крымской набережной». «Творимая легенда» — словцо Сологуба, давай сюда для красоты слога!

Выставка, однако, привлекала и без рекламы. Необыкновенное начиналось у входа, с праздничного кустарного павильона. Ожили после разрухи разнообразнейшие промыслы, все то, за что нас премировали на международных выставках. Рядом с кустарным павильоном Наркомат финансов демонстрировал бумажные деньги, выпущенные за все годы революции. Простыни керенок, деникинские колокольчики, киевские карбованци, местные боны, ассиг-

нации с шестизначными цифрами и грошовой стоимостью. На выставке был и киоск Госбанка. Наша валюта окрепла, в киоске рубли менялись на любую валюту — доллары, фунты стерлингов. Страна ожила, наладились экономические отношения с деревней — на выставке выпускалась газета «Смычка».

Было нарядно и весело. Узбеки в многоцветных халатах играли на длинных и тонких, как хворостинки, трубах. Чадили жаровни, пахло пловом и шашлыком. Прогоняли великолепных, выращенных в оживших хозяйствах лошадей. Крестьяне сходились послушать лекции агрономов. С Севера на выставку привезли семью чукчей, она расположилась в чуме, совершенно как на просторах тундры. Иностранные фирмы показывали образцы сельскохозяйственного машиностроения — жатки, молотилки. Привлекал посетителей шестигранник, который в измененном виде и сейчас существует в Парке культуры и отдыха. Что там выставлялось — не помню.

Мы взобрались на вышку для обозрения всей территории выставки. Ее построили за короткий срок, и ее павильоны было последнее, чем любовался в свой последний приезд в Москву Ленин. Внизу уже высадили деревья и проложили аллеи, по которым вы прогуливаетесь сегодня.

Одет был Ильф бедненько, как захудалый служащий. Куцая кепочка, залоснившийся макинтош.

В наших прогулках по Москве он любил покупать на развале у Китайской стены старые журналы. У него были комплекты сатирической «Искры» 60-х годов, «Сатирикона», собрание лубочных картинок, сборники Аркадия Аверченко и других юмористов. Порывшись в развале, ему случалось купить то протоколы комиссии по расследованию деятельности царских министров, то книгу про Ютландский бой. С годами его книжная полка пополня-

лась разнообразным интересным старьем. Он усердно читал не одних классиков, наших и иностранных, но и произведения своих коллег, именитых и безвестных, что другие в его положении делали не всегда.

Мы забрели раз на кинофабрику. Она принадлежала до революции Ханжонкову, работавшему потом в Совкино. В павильоне на Житной бородатый А. Ромм снимал картину «Бухта смерти». В этот вечер снимали тонущий пароход. Героиню то и дело окатывали водой. Окатывали много раз. Техника была в то время слабоватая, в юпитерах что-то не ладилось, и взыскательный оператор накручивал множество вариантов.

Заходили на выставки молодых художников. Некоторые были приятелями Ильфа и считали его знатоком живописи. Заходили в музеи. В Подсосенском переулке на Покровке, где теперь Издательство Академии наук, находился в доме Морозова — сколько их в Москве, домов Морозова! — музей стекла и фарфора. Гидом служил здесь один из Морозовых. Бывали мы, конечно, и в Третьяковской галерее, и в Щукинской, сделавшейся потом Музеем новой западной живописи, который после войны по чьему-то неразумному распоряжению закрыли. Теперь большая часть этой коллекции выставлена в музее имени Пушкина.

Мы колесили по переулкам Замоскворечья, всем этим Монетчиковым, Спасоболвановским... В последние месяцы своей жизни Ильф любил гулять по ним с полуторагодовалой дочкой Сашенькой. Он жил тогда в Лаврушинском переулке, близ одного из чудес Растрелли — церкви в стиле барокко. Это чудо архитектуры мы некогда тоже ходили обозревать.

Забавным было наше посещение Кремля. Он в ту пору был закрыт, и для входа требовались пропуска. Но нравы

были простые, и перед прохожим, задержавшимся на Красной площади, чтобы поглядеть на Мавзолей, на Кремль, не возникала, как в 30-е и 40-е годы, строгая фигура, внушительно, хотя и негромко, предлагавшая: «Проходите!» В ТАССе работал тогда Константин Паустовский. У него был билет на заседания съезда Советов, не помню какого. Билет безымянный, бесхитростный. Он дал мне его на один вечер. А я пригласил с собой Ильфа.

Мы подошли к Никольским воротам. Я был обладателем билета, пускай временным, и прошел в Кремль первым, Ильф дожидался у ворот. Побывав на заседании и бегло осмотрев Кремль, я вышел к Ильфу, топтавшемуся на площади. Теперь в Кремль прошел он, а у Никольских ворот стал дожидаться я. Выйдя из Кремля, Ильф сказал:

— Город девятнадцатого столетия.

В ту пору газовые фонари на московских улицах исчезли, их сменили электрические. Они сделались символом старины, и вспоминали о них лишь репортеры в восторженно-коммунальных заметках, которые, по определению Ильфа и Петрова, начинались обычно с академических нападок на царский режим. В Кремле же освещение на улицах оставалось газовым. Вот почему они и показались Ильфу улицами девятнадцатого столетия. И это был именно город — в Кремле жило тогда несколько тысяч человек. На улицах играли дети, старушки собирались в говорливые кружки, молодежь шла в клуб. На просторных, по-старинному тихих улицах, под газовыми фонарями все это представлялось менее современным, чем жизнь за стеной.

Сиживали мы и на бульварах. На Тверском играл, забившись в раковину, духовой оркестр. Детям показывали петрушку. Наискосок от Пушкина жонглировал ножами китаец, а рядом стоял маленький телескоп, через кото-

рый можно было посмотреть на Луну. Никитский бульвар был бульваром молодых матерей, бабушек, нянек. На Пречистенском и повыше, в сквере храма Христа Спасителя, роились парочки. Кстати, и сегодня в новом саду вокруг бассейна снова ищет уединения молодежь.

Сиживали мы и в Александровском саду, у грота с дорическими, что ли, колоннами. Здесь мы обсуждали рассказы собственного сочинения. Чаще всего это были мои грехи. Ильф слушал так, что по телу бегали мурашки. Он подкарауливал неосторожного автора, как хищник. Чуть заврался — получай удар, который уж напомнит заврашемуся, что он взялся за нелегкое дело. Так слушал Ильф однажды историю провинциального дедушки, приехавшего в город с узелком яблок. Темная-претемная лестница. Дедушка растерял яблоки, ползает по ступенькам, собирает. Одно подобрал, другое, наконец подобрал самое румяное и как бы глянувшее на дедушку своими глазастыми пятнышками.

— Стоп! — перебивает Ильф. — Ваш дедушка, вопреки законам природы, не только не ослабел к старости, а стал, наоборот, видеть в темноте!

С давних пор я считаю повсюду колонны — сколько их? Я наврал раз про панский дом на Подолии, будто бы в нем двенадцать колонн. Ильф строжайше глянул на меня поверх пенсне (преимущество очкастых) и категорически проговорил:

— Ше-есть! Максимум шесть колонн!

Я проверял потом — даже колоннада Большого театра не имеет двенадцати. Столько я нашел их лишь на здании Мариинской больницы у Петровских ворот. Двенадцать колонн есть еще в бывшей Одесской думе. Воскресенский собор в Арзамасе известен четырьмя дюжинами колонн, но это все монументальные здания, и даже под сенью их

колоннад мне не удалось бы упрятаться от стыда за мою погрешность. Тот панский дом на Подолии, разумеется, не имел больше шести колонн. Таким я видел его и в жизни, именно шестиколонным, а про двенадцать сболтнул оттого, что не представлял себе, как важна точность в изображении подробностей. Ильфу же эта приверженность к точности описания была присуща с младенческого литературного возраста.

3

В часы хождения по улицам Ильф рассказал мне однажды сюжет прочитанного им накануне рассказа. Автор рассказа как будто Жюль Ромен. Я до сих пор не читал его сам — перелистал недавно несколько томиков Ромена, но не нашел. Содержание же рассказа хорошо запомнилось. Из мэрии выходит только что обвенчавшаяся парочка. Молодые намереваются пересечь улицу, но путь им преграждает длинная похоронная процессия. Хоронят чиновника. За гробом идут родные покойника, сослуживцы, соседи, земляки. Потом в рассказе говорится, что прошли годы. Умирают родные покойного, сослуживцы, соседи, и умершего вспоминают теперь все реже. В Париже не остается, наконец, никого, кто бы мог вспомнить о чиновнике. Умирают и земляки, уже не вспоминают его и в провинции. И только один старик говорит однажды в Париже своей жене: «Помнишь, когда мы обвенчались и вышли из мэрии, кого-то хоронили?» Потом умерли и старик с женой, и круг забвения сомкнулся.

У Гегеля, кажется, сказано, что настоящая дружба бывает в юности, пока пути жизни еще не определились. Это как будто естественно, хотя и грустно, что рвутся нити, что на смену школьным товарищам, друзьям ранней юно-

сти приходят новые дружеские связи. Но чем человек душевней, тем реже рвутся нити прежних отношений. У Ильфа они сохранялись. Художники Перуцкий или Соколик, с которыми Ильф сошелся в ранней юности, были завсегдатаями в его доме до последних дней. Вспомните великолепный фельетон о бедном человеке, которому нужно отвезти жену в родильный дом, а машину негде достать. Эта была история Соколика. Я застал в тот день Ильфа опечаленным и возмущенным. Соколик давно ушел, а Ильф не только в тот вечер, но и через несколько дней горевал за старого друга. Фельетон Ильфа и Петрова в «Правде», где рассказывался этот случай, помог всем московским роженицам. Для них выделили дежурные машины, и никто уже после того случая не бегал в отчаянии с перекрестка на перекресток в погоне за такси.

Вспомнит ли кто-нибудь сегодня Михаила Глушкова? Может, упомянет как-нибудь какой-нибудь литературовед, сделав примечание, что прототипом одного из персонажей романов Ильфа и Петрова, остроумца Изнуренкова, был М. Глушков. Ильф и Петров назвали его в романе неизвестным гением, который «выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц». Они с улыбкой повторялись всеми, но Глушков, неизвестный людям и тогда, едва ли вспомнится кем-нибудь теперь. Едва ли разыщет кто-нибудь тысячи его острот, делавших славу журналам и привлекавших читателей. Остроты ведь были не подписаны.

Ильф всегда был рад шумному, доброму Глушкову, который был очень доволен образом Изнуренкова и даже поцеловал за это Ильфа в плечо.

Бывал у Ильфа один молодой литератор, Иван Мизов. Его-то уж и комментаторы не упомянут. Он держался

с Ильфом застенчиво, а Ильф, который был лет на десять старше, обходился с Мизовым по-отцовски. Полюбил Мизова и Евгений Петрович, хотя у него-то было право недолюбливать этого молодого человека.

Ехал однажды Иван Мизов в подаренных ему Ильфом хороших ботинках на юг, в Ростов. И ехали в том же купе мать с дочерью. Затевается дорожная беседа. До этой злополучной беседы Мизов был честным малым. Но дочка, читавшая с утра роман Ильфа и Петрова, так славно хохотала и так восторженно отзывалась о сочинителях, что Мизов, ответивший на ее вопрос о его занятиях, что он литератор (в этом неправды еще не было), видимо, улыбнулся при этом значительно и загадочно. Даже в этот момент он еще не намеревался соврать. Но когда дочка, посмотрев на лежавшую рядом книгу, а затем на него, попросила его назвать свою фамилию, он промолчал уже совсем загадочно. Бог знает как не хотелось Мизову испытать ту неловкость, какую неизбежно испытывает в таких случаях неизвестный читателю литератор! На беду, мать спросила дочку:

— Неужели ты не догадалась?

— Да, я Евгений Петров,— сказал Мизов, ступив на путь самозванства.

Капкан защелкнулся. Самозванца позвали в гости. А через несколько месяцев Петрову позвонили по телефону разыскавшие его мать с дочкой. Они рады были бы «снова» его повидать. Разобравшись в дорожной истории, Петров полюбопытствовал, не прикарманил ли у них чего-либо тот молодой человек.

— Да нет, он такой славный! Мы к нему так привыкли. Жаль, что он не настоящий Евгений Петров!

Набедокуривший Мизов признался погодя Ильфу, что самозванцем был он. Не зараженные черной болезнью

подозрительности Ильф с Петровым сумели отличить случайно провинившегося человека от жулика.

4

Перечислим все московские квартиры Ильфа — это была как бы лестница его восхождения. Сперва он жил в Мыльниковом переулке на Чистых прудах, у Валентина Катаева. Спал на полу, подстилая газету. Всего одну газету — формат «Правды» и «Известий» был больше теперешнего, с вкладышем — около двух метров.

Это было начало. Летом двадцать четвертого года редакция «Гудка» разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии, за ротационной машиной. Теперь Олеша спал на полу, подстилая уже не газету, а бумажный срыв. Ильф же купил за двадцатку на Сухаревке матрац. Вид у Ильфа, когда он вез этот матрац на извозчике и пристраивал потом на полу, был самодовольный, даже гордый. На матраце позволялось спать иногда его брату Мише, художнику. Приятели же из бездомных устраивались рядом на столике, свесив ноги. И никого ротационная машина, начинавшая гудеть в два часа ночи, не будила. А преимущества от соседства с ней были. Можно было, сделав спросонок шага два-три, потянуться за свежим номером и прочитать свой последний фельетон или обработанные в сатирическом духе рабкоровские заметки.

Ильф и в ту пору сочинял рассказы. Друзья отзывались о нем как о человеке одаренном, однако тех элементов, что вошли потом в состав целого, было еще недостаточно, чтобы образовать писателя, каким сделался автор, именуемый Ильфом и Петровым. Евгений Петрович тоже

сочинял тогда рассказы, и его тоже считали человеком одаренным, но он тоже не составлял целого. Им просто необходимо было соединить свои усилия, свои способности, и они соединили их. Результат известен. Позднее каждый из них научился писать так, как писали оба вместе. Теперь автор Ильф и автор Петров и в единственном числе были уже откристаллизовавшимся автором Ильфом и Петровым.

Но продолжим восхождение по лестнице благополучия. Теперь Ильфу отвели уголок подальше от ротационной машины. Комендант отгородил для него клетушку шириной в метр с четвертью. В клетушке этой брат Ильфа, лежа на приподнятом теперь от пола и поставленном у стены матраце, делал на другой стене наброски углем. «Матрац ломает жизнь человеческую,— написали потом Ильф и Петров.— В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи... Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды».

По сравнению с тем, что было в клетушке, это написано с преувеличением. В жертву матрацу, поставленному теперь на ящики, принесен был только столик и кое-что из посуды. Ни этажерки покуда не было, ни портьер. Но это уже была отдельная комната, сюда Ильф мог привести молодую жену.

Четвертая ступень: Ильф с Олешей, оба теперь люди семейные, что-то отвоевали, что-то отремонтировали в плохоньком флигельке в Сретенском переулке. В эту комнатку на втором этаже (в первом какая-то артель коптила колбасы) и пришла к Ильфу слава. Пришла она и к

Юрию Олеше. Внизу коптили колбасы — отсюда колбасное производство в повести «Зависть». А Ильф поднялся однажды сюда по темной лесенке с связкой авторских экземпляров «Двенадцати стульев». Быт и в Сретенском переулке был странноват, хотя в жертву матрацу принесены были уже и этажерка и занавес. По случаю успеха Ильф купил на Петровке пузатую бутылку настоящего дорогого бенедиктина. Мы попались ему с Сергеем Бондариным на улице. Он зазвал нас к себе в гости, и мы распили бутылку единым духом, закусывая ликер солеными огурцами. И некому было ужаснуться нашему гастрономическому злодеянию.

Как только стало больше денег, Ильф записался в жилищный кооператив, первый из трех кооперативов в его жизни. Мы ходили с ним обозревать панораму стройки. Он вглядывался снизу в пустоту на уровне воображаемого пятого этажа. Там он и поселился через года полтора, в комнате с балконом, с видом на Москву-реку, где негромко шумела Бабьегородская плотина, на Кремль, на Замоскворечье. Об отдельной квартире еще не мечталось, и вообще три или даже две комнаты казались тогда ненужными.

Но потребности растут с годами. Шестая ступень — отдельная двухкомнатная квартира в Нащокинском переулке. В этом доме Ильф и Петров, жившие до той поры порознь, в разных районах, сделались впервые соседями. Годы жизни в Нащокинском переулке — это время расцвета их литературной деятельности. Каждый фельетон, написанный ими в эту пору,— я не боюсь обвинений в преувеличении — литературно-общественное событие. Как они украшали газету, эти мастерски, не по-газетному написанные фельетоны!

Расскажу про одно мое посещение Ильфа в этой

квартире. Мы возвращались с ним за два дня до этого с одного собрания. Ильф сказал:

— Приходите ко мне послезавтра.

Я ответил ему, что приду в том случае, если не выеду в какую-либо командировку, которые случались тогда у меня часто. Обязательства, таким образом, никто на себя не брал. И когда я пришел в Нащокинский переулок к восьми часам вечера и не застал Ильфа дома, это меня не обидело, даже не обескуражило. Жена Ильфа объяснила мне: его зазвали к одному значительному лицу. У значительного лица было нечто вроде салона. Приглашались в этот салон люди знаменитые.

Когда мы разговаривали с женой Ильфа, Марией Николаевной, зазвонил телефон.

— Да, он пришел. Только что,— сказала она.

И Мария Николаевна обратилась ко мне:

— Это звонил Иля. Он просит вас подождать. Не позже чем через десять минут он будет дома.

Что делалось там, в салоне значительного лица! Мне рассказывали потом, как и хозяева и гости всячески упрашивали Ильфа остаться. У значительного лица как раз усаживались за стол.

— Придет к вам в другой раз,— уговаривали там Ильфа.— Эка невидаль!

Уговаривали, пока он звонил, пока одевался и прощался. Жалели и огорчались. И поносили некстати забредшего к нему гостя, который нахальным образом лишил их удовольствия послушать остроумного собеседника, редко выезжавшего в те дни из дома.

Ильф возвратился домой даже раньше, чем через десять минут. Чай, в меру спиртного и беседа до полуночи. Он восхищался безвестными монтажерами, поставившими вдруг «гениальный фильм». Это говорилось им о «Ча-

паеве». Он читал в те дни роман Юрия Германа «Наши знакомые». Роман понравился описанием простых человеческих судеб. Понравились также Ильфу романы Сергеева-Ценского «Зауряд-полк» и «Массы, машины, стихии». Он рассказал мне в тот вечер об одном мошеннике, жившем в том же кооперативном доме и считавшемся литератором. Ильф присутствовал при следующем разговоре этого проходимца с директором издательства:

— Прошу вас, Григорий Евгеньевич, заключить со мной договор на будущую мою повесть.

— Ни настоящая, ни будущая ваша повесть мне не нужны,— сказал директор издательства.— У нас трудно с бумагой. Достали бы нам лучше вагона два...

— Идет,— согласился этот автор.

Говорили потом, что ловкач действительно «посодействовал», что два вагона бумаги были издательством получены.

Из шестой своей квартиры в седьмую, последнюю, Ильф перебирался с некоторой таинственностью. Дом в Лаврушинском готов, ордер на квартиру из трех комнат, да и ключи лежат в кармане. Утром можно переезжать. Как будто все просто? Ничего подобного!

С вселением по ордеру случались в то время казусы. Утром должен состояться переезд законных жильцов, а ночью кто-то ворвался захватническим образом в квартиру. Прокурор задерживает заселение нового дома, возбуждается дело о незаконном вселении, принимаются меры. Захватчика не так-то просто выселить. И накануне переезда Ильфа происходит следующее: вечером к дому Ильфа в Нащокинском подкатывает взятый напрокат в «Метрополе» «линкольн». По лестнице взбегает Валентин Катаев. У него тоже в кармане ордер, ключи.

— Тащите табуретку, Иля! — командует он. — Надо продежурить там ночь. С мебелью!

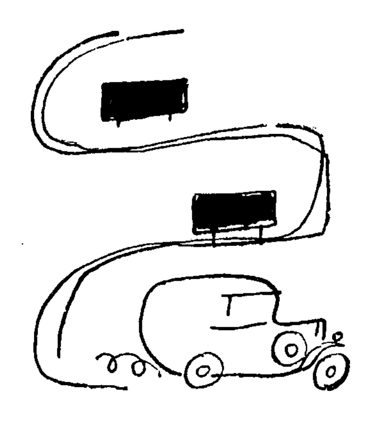
И «линкольн» с символической мебелью, с Валентином Катаевым, Петровым и Ильфом катит в темноте к восьмиэтажному дому в Лаврушинском переулке. Законные владельцы отстояли свою жилищную площадь от захватчиков.

Переехав в дом на Лаврушинском, Ильф сказал:

— Отсюда уже никуда! Отсюда меня вынесут.

Пророчество? Нет, имелось просто в виду, что и дом хорош, и квартира досталась просторная, и проживет он в ней много лет. Конечно, его иногда угнетали мысли о болезни. Но знал же он людей в своей среде, которые успешно лечились от туберкулеза десятилетиями. Деятельный и жизнелюбивый, он пошел в один из последних дней своей жизни на литературное собрание в Политехнический музей, где Петров прочитал с трибуны написанную ими обоими речь, сиживал в кафе. Он готовился к поездке на Дальний Восток. За несколько дней до его смерти мы были с ним на похоронах жены одного знакомого литератора. В ожидании ее кремации мы бродили с Ильфом среди могил кладбища у Донского монастыря. Здесь же состоялась через несколько дней и его кремация.

Перебираясь в дом на Лаврушинском, Ильф шутил, но получилось нечто вроде предвидения.



А. ЭРЛИХ ●

НАЧАЛО ПУТИ

1

Новый библиотекарь с первых же дней взялся за пересмотр книжного фонда и каталогизирование. Он был высок, худ, на лице его остро выступали скулы. Некоторые книги возбуждали в нем особенный интерес. Прислонившись к полкам, он надолго застывал, листая страницы. В большинстве случаев это оказывался какой-нибудь сборник правил для железнодорожников разных специальностей — путейцев, тяговиков, связистов, эксплуатационников. Когда один из нас, недоумевая, спросил, что интересного можно найти в сухом перечне профессиональных правил, библиотекарь простодушно ответил, что ему никогда не приводилось еще видеть эти книги; новый интересный мир; склад драгоценных сведений.

Редакция газеты «Гудок» задумала в ту далекую пору выпускать еженедельный литературно-художественный журнал. Для первого номера уже подобраны были рассказы, стихи, очерк. Не хватало фельетона. Несколько авторов написали по фельетону, но пришлось забраковать их все без исключения. В. Катаев объявил тогда:

— У меня есть автор. Ручаюсь!

Спустя два дня он принес рукопись.

— Отличная вещь! Я говорил!

Фельетон в самом деле оказался очень остроумным и значительным. Фамилия автора — короткая и странная — ничего нам не говорила.

— Кто это Ильф?

— Библиотекарь. Наш. Из Одессы,— не без гордости пояснил Валентин Катаев.

Мы настояли, чтобы редактор подобрал другого работника для библиотеки и перевел Ильфа в газету, в «обработчики» четвертой полосы.

Страница, заполняемая хлесткими короткими письмами рабочих корреспондентов, находилась в ведении И. С. Овчинникова, пожилого человека с детским, старательным почерком. К концу дня на столе у него скапливалось до двух десятков коротеньких фельетонов, по пять—десять газетных строк каждый; веселые, остроумные, гневные, ядовитые, они били по всем чинушам на транспорте, по беспечным хозяйственникам, бессердечным, заносчивым, чванным бюрократам, зловредным пошлякам, буйствующим хулиганам, по всему грязному и темному, что мешало или могло помешать нарождавшемуся новому быту.

Полоса держала в страхе всех работников транспорта. Тот, кто, провинившись, попадал на четвертую страницу,

приобретал печальную и обидную известность на долгие времена. Фельетоны запоминались. Они больно кусали и крепко жгли.

2

«Гудок» — пора нашей молодости. Ильф жил тогда вместе с Олешей в одной из комнат при редакции, в Чернышевском переулке, в комнате, кустарно приспособленной под жилье.

Неуютная, бивуачная была жизнь. Видимо, не очень любил свое тогдашнее пристанище Ильф: по вечерам он всегда появлялся в «ночной редакции» при типографии, где дежурил кто-нибудь из редакционных работников и выпускающий готовил макеты верстки. Ильф пристраивался в укромном месте с рукописью или книгой.

Интересующимся он охотно показывал занимавшие его книги; очень часто содержание их могло показаться неожиданным и интерес к ним — необъяснимым. Справочники, мемуары министров, старые иллюстрированные журналы времен англо-бурской войны или Севастопольской кампании — все представлялось ему интересным, всюду он умел находить крупицы полезных сведений.

Если же кто-нибудь хотел проникнуть в тайну его собственных записей, он, конфузясь, мял и прятал исписанную бумагу; знакомый каждому автору стыд за несовершенство, слабость и непременную наивность первых опытов обдавал жаром и краской его щеки.

Никому не известны его ранние работы. Только немногим его одесским товарищам привелось услышать в 19-м или 20-м году юношеские выступления Ильфа в литературном кафе, у входа в которое рукописная афиша

обещала посетителям «один бокал оршада и много стихов».

Худенький юноша в пенсне, волнуясь, декламировал там свои стихи в прозе, многозначительные, но непонятные, стихи возвышенного, декламационного строя, тронутые нарочитой таинственностью и даже мистикой.

Кто мог думать тогда, что спустя несколько лет из молодого поэта выработается автор с такой точной, ясной и конкретной направленностью, сатирик, без промаха разящий смехом пошлость, глупость, невежество, чванство, бессердечие, лень, равнодушие?

Может быть, «четвертая полоса» — многолетняя близость к рабочим письмам с их непременной конкретностью обличений — и послужила главным формирующим началом ильфовского мышления. В молодости ум гибок и легко поддается самым крутым поворотам, диктуемым честностью и разумом.

Когда редакция «Гудка» перекочевала с Чернышевского переулка на Солянку, в колоссальный дом ВЦСПС, комната четвертой полосы, где работал И. С. Овчинников со своими мастерами коротких ударов, превратилась в своеобразный клуб. Сюда захаживали молодые литераторы и художники, чтобы обменяться новостями, поговорить о театре, о новых постановках, о новых картинах, о новых произведениях литературы.

Сюда собирались в свободную минуту журналисты, работники своего же «Гудка», сотрудники других газет и журналов.

Случалось нередко, сюда буквально затаскивали из длиннейших коридоров ВЦСПС, как сотами наполненных всевозможными ведомственными изданиями, бродячих невежественных халтурщиков, чтобы вдоволь поиздеваться

над ними; не они ли послужили прообразами знаменитого автора «Гаврилиады» в романе «Двенадцать стульев»?

И. С. Овчинников, завтракая излюбленной своей репой или морковью, напрасно пытался унять своих подопечных.

Многие мысли и многие замечания, высказанные Ильфом в годы гудковского «обучения», получили потом превосходное и развернутое выражение в его книгах.

Мы находим нередко отдельные слова, сравнения, эпитеты, метафоры, которые возникали у него в часы общения с друзьями; мы слышали их и находили потом в печатном выражении.

Однажды, стоя у окна своей комнаты в Чернышевском переулке, Ильф долго провожал взглядом девушку в короткой, по тогдашней моде, юбке.

— Смотри, у нее ноги в шелковых чулках, твердые и блестящие, как кегли,— сказал он.

В «Двенадцати стульях» мы находим эту фразу: «молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли».

«Гудок» — пора молодости, годы накопления опыта, наблюдений, мыслей, сюжетов, эпитетов, сравнений, метафор, годы созревания, развития сатирического мышления, конкретной творческой направленности и мастерства.

Евгения Петрова еще с нами не было. Но мы знали о нем давно, еще с 1923 года, как об авторе очень смешного рассказа о следователе по уголовным делам (одна из юношеских профессий Е. Петрова) и как об авторе многих острых фельетонов и юмористических рассказов в журналах «Крокодил» и «Красный перец».

Евгений Петров появился в «Гудке» с 1926 года, вернувшись из Красной Армии. У него был свой богатый опыт, свои обширные наблюдения. И вскоре от соединения

двух сил, от органического слияния двух богатств, двух дарований, родилось счастливое и чудесное авторское содружество — Илья Ильф и Евгений Петров.

3

У Ильфа была маленькая комнатка, в которой он жил не один. Некий энтузиаст механик жил по соседству и, скупая на Сухаревом рынке всевозможный металлический лом, строил с великим громом у себя в комнате мотоциклетку. У Петрова вовсе не было комнаты, и он временно ночевал у брата.

Столь неблагоприятные жилищные условия заставили обоих авторов писать свой первый роман в вечерние часы, в редакционном помещении, когда редакция пустела, замолкал гигантский дом на Солянке и в коридорах его, тускло освещенных слабыми лампочками, наступала тишина.

Сюжет «Двенадцати стульев» сам по себе играет в романе только служебную роль. История двенадцати стульев — лишь скрепляющая нить, на которую нанизано ожерелье превосходных и, в сущности, вполне самостоятельных новелл.

В романе мало выдуманных фигур, и лишь очень немногие главы его не являются гротескным отображением встреч и соприкосновений Ильфа и Петрова с их соседями или случайными спутниками.

При всей подчеркнутой гротескности похождений Остапа Бендера почти все события и все лица в романе почерпнуты авторами из самой жизни, из самой действительности.

Под их пером чудодейственно преображались эти события и лица. Серость и обыденность превращалась в пре-

зренную пошлость. Незаметные или, во всяком случае, незамечаемые люди, умело скрывающие свою истинную сущность под благополучной внешностью, становились вдруг вопиющими уродами.

Многочисленные эпизодические действующие лица — и в «Двенадцати стульях» и в «Золотом теленке» — неизмеримо ярче и ценнее главного, ведущего сюжет персонажа — Остапа Бендера. Они сотворены из живой плоти, и живая кровь течет в их жилах. Обширная галерея типических фигур, выхваченных острым сатирическим пером из повседневности, действует на страницах обоих романов.

Тут и Эллочка-людоедка, и бесстыдный халтурщик Ляпис-Трубецкой, и «кипучий лентяй» Полесов, и бюрократ Полыхаев с его набором резиновых резолюций, и старик Синицкий — незадачливый сочинитель ребусов и загадок с идеологическим содержанием, и великолепный Васисуалий Лоханкин, разговаривающий ямбом, и Авессалом Владимирович Изнуренков, остряк по профессии, безотказно действующий по заданиям юмористических журналов, и провинциальный фельетонист, «известный всему городу», некогда подписывавшийся «Принц Датский» и сообразно новым временам изменивший псевдоним на «Маховик», и герой профсоюзных «общественных нагрузок» Егор Скумбриевич, и многие, многие другие, щедро рассеянные по страницам обеих книг.

Мы знали многих лиц, послуживших прообразами для этой пестрой галереи. Зарождение и развитие образа у Ильфа и Петрова всегда определялось так: начальная реакция — гнев, протест, возмущение; в бурлении и в пене этих чувств возникал сатирический или гротескный образ; конечная реакция — целеустремленность, боевая направленность, стремление сокрушить, убить, разгромить,

рассеять, изменить все ненавистное, подлое, мелкое, пошлое в людях.

Столь деловая, почти оперативная направленность творчества могла органически возникнуть лишь у художников, воспитанных советской газетой. И отсюда же, из этой оперативной целеустремленности художественного мышления, естественно установилась связь Ильфа и Петрова с «Правдой», родоначальницей большевистской печати.

Если в романах оба художника не теряли своего публицистического первородства, то в фельетонах, публикуемых на страницах «Правды», и в публицистических очерках о своем последнем путешествии по Америке они сохраняли культуру высокого художественного мастерства.

4

— Под суд!

Ильф часто произносил эти слова, отбрасывая только что прочитанный им новый роман или свежий номер журнала.

— Под суд! — восклицал он, поблескивая стеклами пенсне.— Написал фальшивую, лживую книгу? Под суд! Как ты смеешь писать о том, чего не знаешь? Морочить читателя? Издеваться над ним? Писать книги только затем, чтобы заполнить их одной только видимостью? Бредом сивой кобылы? Под суд! Выпустил плохую картину, без всяких признаков мысли, воодушевления, страсти? Под суд! . .

Он не выносил чистеньких работ, добросовестных упражнений в чистописании, выдаваемых за творчество Роман одного из своих друзей, талантливого и кроткого человека, Ильф разнес беспощадно, уничтожающе, помянул свои излюбленные «под суд!» и «бред сивой ко-

былы», потому что роман был сплошь выдуман, в нем отчетливо сказывалась высокая писательская техника, но не было ни капли настоящей жизни; автор обманывал своего читателя видимостью литературного произведения и писал о том, чего не знает.

Сам Ильф никогда не писал о незнакомых вещах. Чрезвычайно требовательный к себе, он много читал и много работал, много ездил по своей стране и зарубежным землям, многое наблюдал и изучал, прежде чем творчески открыться перед читателем. Он презирал литературу готовых фраз, штампованную литературу, в которой за привычными и обязательно-бесспорными словами тщательно бывают укрыты и вялость мысли, и безмятежность чувств.

— Видно, что человеку смерть как не хочется писать. Зачем же он пишет? Бросай перо, ступай работать в какой угодно другой области. Выбирай! Выбор велик. Работай, живи, радуйся. Но не ври, не насилуй себя, не паразитируй, не скучай, а не то... Под суд!!! — восклицал он, делая движение головой, будто собираясь бодаться.

Замечательно полное, органическое, талантливое, честное, действенное, творческое содружество нарушила смерть.

Ильф и Петров глубоко сроднились друг с другом, одинаково думали и чувствовали, выработали совершенно единый характер мышления, единый язык...

Эти два человека жили одной жизнью.

В. БЕЛЯЕВ •

ПИСЬМО

«Вашу повесть прочитали Ильф и Петров». Эти строчки, оброненные мимоходом в деловом письме, доставили мне большую радость. Разумеется, письмо было показано всем знакомым. Тем из них, кто знал слабо литературу, я добавлял с нескрываемой гордостью: «Это те самые Ильф и Петров, что написали «Двенадцать стульев».

Повесть о гражданской войне на Украине — «Подростки», названная в отдельном издании «Старой крепостью», вышла в ленинградском Детиздате. Книга попала к читателю. Я стал подумывать о ее продолжении. Написал несколько новых глав, продолжающих историю героев «Старой крепости». В это самое время, наполнен-

ное радужными планами, состоялся очень невеселый разговор с директором издательства.

— Мы сделали большую политическую ошибку, выпустив вашу книгу! — сказал он.— Ее никто не хвалит. Никто о ней не пишет. А один авторитетный товарищ прямо заявил нам, что «Старая крепость» — чужая книга. Вполне возможно, что вас за эту книгу посадят, а у меня в лучшем случае отнимут партийный билет.

Такие слова услышал я от директора издательства. Стоит ли говорить, с каким чувством они были восприняты? А может, директор и прав? Может, и в самом деле надо считать несостоявшимся первый литературный опыт? Может, следует немедленно перестраиваться и отставить задуманную вторую книгу, перечеркнуть мысленно дальнейший путь героев?

Полный отчаяния, не зная, что же делать дальше, я вспомнил фразу из письма сотрудника редакции журнала «Молодая гвардия»: «Вашу повесть прочитали Ильф и Петров. . .»

Из двух писателей оставался к этому времени в живых только Евгений Петров. Илья Ильф умер вскоре после возвращения из Америки. Перед самой его смертью мы читали отличную статью Ильфа и Петрова «Писатель должен писать!». Из содержания этой статьи, из любого фельетона Ильфа и Петрова вытекало, что оба они люди кровно заинтересованные в развитии нашей, советской литературы, желающие притока в нее свежих сил.

Вот почему я опустил в почтовый ящик маленькое письмо, адресованное Евгению Петрову. Я спрашивал у него совета, как быть, и просил прощения, что тревожу его.

Прошла неделя, вторая. Уже отчаявшись получить ответ, к исходу третьей недели я увидел дома конверт

с размашистой подписью в левом нижнем углу его: «Евгений Петров».

Многое в этом письме дополняет наше представление о светлом облике Евгения Петрова. Вот почему, опуская его оценку моей книги, я привожу все остальное почти целиком:

«Ваше письмо от 14/II получил, примерно, неделю тому назад. Очевидно, некоторое время оно провалялось в редакции. Ответил я не сразу вот по каким причинам: я не читал Вашей повести «Подростки». Ее читал покойный Илья Ильф (очевидно, вам неправильно передали). Ильф говорил мне о вашей повести... Должен сказать, что Ильф был чрезвычайно строгий критик и тонкий ценитель литературы. С удовольствием сообщаю Вам его мнение. Получив Ваше письмо, я достал «Старую крепость» и, прежде чем ответить, прочел ее.

...Мне кажется, Вы слишком большое значение придаете таким вещам, как молчание критики или неприятный разговор с директором издательства (очевидно, не слишком умным человеком). Молчание критики — штука очень неприятная, ударяющая по самолюбию. Но помните одно — никакие ругательства критики не могли, не могут и никогда не смогут уничтожить действительно талантливое произведение; никакие похвалы критики не могли, не могут и никогда не смогут сохранить в литературе бездарное произведение. Если Писарев ничего не мог поделать с Пушкиным, то уж конечно, рапповская критика не могла задавить талант, скажем, Алексея Толстого. Всякая талантливая (это обязательное условие) книга найдет читателя и прославит автора. В то же время можете исписать сто газетных листов восторженными отзывами о плохой книге, и читатель не запомнит даже

фамилии ее автора. Реклама достигает своей цели только в том случае, если рекламируемый товар хорош. Иначе — это выброшенные деньги.

О нас с Ильфом почти ничего не писали в течение всей нашей десятилетней работы (первые пять лет — ни строчки). Мы были приняты читателем, так сказать, непосредственно. И, уверяю Вас, это принесло нам большую пользу, хотя и доставило несколько горьких минут. Мы всегда рассчитывали лишь на собственные силы и хорошо знали, что читатель не сделает нам никаких поблажек, что нужно писать в полную силу, нужно трудиться над каждым словом, нужно избегать штампов, нужно каждое утро просыпаться с мыслью, что ты ничего не сделал, что есть на свете Флобер и Толстой, Гоголь и Диккенс. Самое главное — это помнить о необычайно высоком уровне мировой литературы и не делать самому себе скидок на молодость, на плохое образование, на «славу» П. и на низкий литературный вкус большинства критиков.

В нашей социалистической стране путь художника должен быть усеян розами. Я твердо верю в то, что это будет. Но покуда этого еще нет, хотя живется нашим писателям гораздо лучше, чем их коллегам на Западе. Например, Вашу первую книгу выпустили сразу же 25-тысячным тиражом. Это должно Вас радовать. И если на Вашем пути иногда вместо роз попадаются тернии, отнеситесь к этому со спокойствием истинного художника. Поверьте мне, — все будет превосходно.

...Вас, вероятно, зачислят в «детские» писатели и Вы будете немного страдать из-за этого. И совершенно напрасно. Не стремитесь к тому, чтобы Вас поскорее куда-нибудь зачислили. Все будет сделано само собою. И чем естественнее будет проходить этот процесс, тем лучше.

Не растрачивайте Вашей энергии и молодости по пустякам. Вкладывайте всю свою силу, всю душу в Вашу писательскую профессию, в Ваш труд. А все остальное приложится.

...Вы спрашиваете, писать ли Вам о юности Ваших милых героев, о комсомоле, о первой любви и т. д. Разумеется. Пишите только то, к чему у Вас лежит сердце. И вы никогда не ошибетесь. Только идиот может обвинить Вас в том, что Вас якобы тянет писать «чуждые книги». Хороша чуждая книга о нашей молодежи!»

В письме Евгения Петрова ко мне была фраза: «Надеюсь, мы как-нибудь увидимся и сможем более подробно поговорить обо всем». Это дало право в первый же приезд в Москву позвонить Евгению Петрову. Я услышал в трубке хрипловатый голос: «Вы где сейчас находитесь? А-а... Заезжайте». Дальше следовало обстоятельное, с мельчайшими подробностями пояснение, как удобнее всего доехать до Лаврушинского переулка.

Он открывает дверь сам, высокий, живой, с испытующим взглядом темных, южных глаз. Легкой, уверенной походкой спортсмена он проводит меня в кабинет, показывая широким размахом руки дорогу.

Солнечная комната с картинами Бурлюка. Светлый стол, низкие застекленные шкафы вдоль стен, тахта, несколько стульев. Все удобное, скромное. Ничего лишнего, безвкусного, мешающего работать. За стеклом шкафов поставлены рядышком книги, изданные почти на всех языках мира: «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», недавно вышедшие фельетоны «Как создавался Робинзон». Рядом, на шкафу, сделанный из папье-маше, позолоченный теленок — подарок читателей.

Один из авторов этих книг, доставивших столько ра-

дости миллионам читателей и уже сожженных на кострах в гитлеровской Германии, — перед тобой. Он пронизывает тебя умными, наблюдательными глазами. Испытующий взгляд, быть может, даже немного осторожен. Он точно прощупать вас хочет — хватит ли у вас пороха на следующие книги? Не напрасно ли он написал вам такое обстоятельное и, быть может, даже слишком радушное письмо? Я рассказываю Евгению Петрову, как мы читали вслух «Двенадцать стульев» в часы отдыха на заводе «Большевик», спрашиваю, не думает ли он довести приключения Остапа Бендера до наших дней. Мы вспоминаем родную Украину, ведь лучшие годы своей жизни — детство и юность — мы провели на Украине. У нас находятся общие знакомые по временам гражданской войны, по Одессе. Потом Евгений Петров как бы невзначай спрашивает:

— А вы любите музыку? Послушайте, какая замечательная запись.

Размашистыми шагами, стесненный размерами кабинета, он подходит к радиоле, меняет иглу и включает диск. Первые звуки «Шестой симфонии» Чайковского в исполнении оркестра под управлением Стоковского врываются в комнату. Петров слушает музыку, как знаток ее, следя за мелодией, изредка шевеля в такт своими длинными и тонкими пальцами, у него далекий, отсутствующий взгляд. Возможно, он вспоминает эту последнюю поездку по Америке с Ильей Ильфом? Болезненные складки морщин пробегают по его смуглому лбу южанина. Улавливая грусть в его взгляде, вы понимаете, что еще очень-очень близка боль от недавно пережитой утраты, когда погибли «писатели Илья Ильф и Евгений Петров», а остался только новый писатель — Евгений Петров, которому предстоит доказать свое право на место в литера-

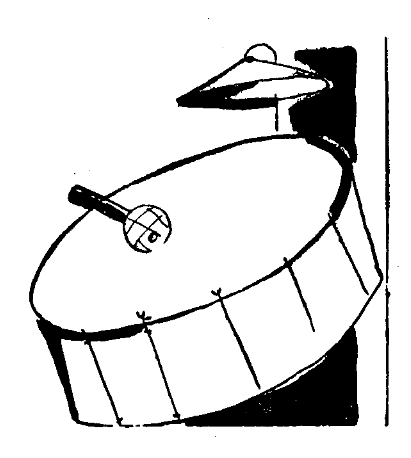
туре. Вы вспоминаете эту крылатую фразу, привезенную кем-то из знакомых в Ленинград и принадлежащую, как говорят, Евгению Петрову. Вам становится стыдно, что вы надоедаете ему в такие ответственные, поворотные дни его жизни своими пустячными делами и, быть может, весьма наивными вопросами. Смолкает музыка.

— Хорошо, правда? — заглядывает вам в глаза Петров, всегда ищущий быстрого отклика у своих собеседников. И вам делается на редкость приятно с ним. Просто. Как в гостях у давнего знакомого.

Но машинка с заложенным в нее листом рукописи подсказывает, что хозяину помешали работать. Порываюсь уйти.

— Да куда вы спешите! Обедать будем. Сегодня я работать уже не собираюсь.

И вам окончательно легко становится жить и знать, что где-то в Москве есть Евгений Петров, к которому вы сможете позвонить запросто и в котором вы нашли старшего друга, советчика, человека, заинтересованного и в вашей работе.



Г. РЫКЛИН •

ЭПИЗОДЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Никогда не думал, что мне придется писать воспоминания об Ильфе и Петрове.

Казалось, что эти сердечные, всегда чем-то взволнованные, веселые, молодые люди надолго переживут нас, литераторов старшего поколения.

Я работал с Ильфом и Петровым в «Правде» и в «Крокодиле». Но, разумеется, никогда я ничего не записывал.

Вот и получается, что теперь приходится восстанавливать отдельные эпизоды, рассыпанные в памяти, без всякой последовательности и связи.

НА ДАЧЕ У ДЕМЬЯНА

Однажды вечером мы отправились в Мамонтовку, на дачу к Демьяну Бедному. Нас было пятеро — Михаил Кольцов, Ильф, Петров, Василий Регинин и я.

Приехали мы по делу. Надо было обсудить вопрос о новом сатирическом журнале.

Поговорили, поспорили, пошутили, посмеялись, попили чаю и наконец заговорили о журнале. Стали думать — как его назвать?

Это ведь нелегко — найти подходящее имя для сатирического журнала.

Наступило долгое молчание. Мы думали. Все вместе и каждый в отдельности.

Только один Евгений Петрович не желал молчать. Это было не в его характере. Он шутил, хохотал, рассказывал смешные истории.

Словом, мешал думать.

Ильф посмотрел на него укоризненно и заметил:

— Слушайте, Женя, дайте же людям сосредоточиться.— И, обращаясь ко всем нам, добавил: — Чудак, совершенно не умеет молчать.

— Чудаки украшают жизнь! — шутливо заметил Кольцов, цитируя Горького.

И тогда не помню уже который из нас воскликнул:

— Товарищи, а почему бы не назвать журнал «Чудак»?

После небольшой дискуссии все согласились на это. И вскоре, под редакцией Михаила Кольцова, начал выходить в Москве сатирический журнал «Чудак».

«МОНАХ» и «ЧУДАК»

Конец 1929 года. Скоро должен выйти в свет в издательстве «Огонек» первый номер «Чудака».

На специальном совещании, созванном в «Огоньке», Ильф и Петров предложили организовать «небывалую рекламу» новому журналу — «не в лоб, а исподтишка», так, чтобы читатель и не заметил, как его произвели в подписчики...

В то время в газетах стали появляться заметки о неопубликованной поэме А. С. Пушкина «Монах». Было решено напечатать в «Огоньке» вроде как бы отрывок из этой поэмы. Текст отрывка поручили написать Михаилу Пустынину, а комментарий — Ильфу и Петрову.

Спустя день, стихотворный текст и прозаический комментарий были готовы, и в очередном номере «Огонька» появилась полоса, состоявшая из «отрывка неизданной поэмы» и «пушкиноведческих» комментариев к ней, где недвусмысленно рекламировался новый журнал.

«ПУШКИНИСТЫ, ПУШКИНОВЕДЫ И ПУШКИНИАНЦЫ О ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАННОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПОЭМЫ А. С. ПУШКИНА «МОНАХ»

П. Е. Щегольков. Пушкин любил играть рифмами. Нетопырь и не топырь, по калачу и поколочу чрезвычайно напоминают по своей конструкции соответствующее место из опубликованного отрывка: «Он хмур, а на уме у тех очарование утех». Что же касается встречающегося в контексте слова «чудак», озадачившего некоторых критиков, то я считаю это простым совпадением. Слово «чудак», несомненно, было известно Пушкину, в эпиграммах которого это слово встречается дважды.

П р о ф е с с о р П. Н. К о с у л и н. Среди пушкинистов, я знаю, уже есть такие, которые склонны считать опубликованный отрывок из поэмы «Монах» шуткой издательства «Огонек», рекламирующего выпускаемый им новый сатирический журнал «Чудак». Но мы должны бороться с этим течением. Ни на одну минуту в нашей среде — среде каменных пушкиноведов — не должно быть сомнения в подлинности опубликованного отрывка. «Монах» — это шутка Пушкина, а не «Огонька». В этой поэме повторяются мотивы из «Графа Нулина», «Домика в Коломне» и особенно — из «Гавриилиады». Лично я настаиваю на принадлежности опубликованного отрывка перу Пушкина. В стихотворениях Пушкина слово «нетопырь» встречается трижды.

Н. О. В е р н е р. Не может быть и двух мнений относительно подлинности впервые опубликованного отрывка. Пушкин любил вольные темы с оттенком антирелигиозности, попутно популяризирующие новые журналы. Если стих не везде гладок и безупречен, то нельзя забывать о том, что «Монах» написан молодым Пушкиным, еще не поднявшимся до классических строф «Онегина». Мы, пушкиннанцы, утверждаем, что опубликованный отрывок из поэмы «Монах» — факт, а не реклама, в противовес группе сотрудников нового журнала «Чудак»,— кстати сказать, весьма интересного и назидательного журнала,— утверждающих, что означенный отрывок — не факт, а реклама. Всех сомневающихся в подлинности впервые опубликованного отрывка мы отсылаем к «Монаху», где молодой, лицейского периода, Пушкин выявлен во весь свой доогоньковский и дочудаковский рост. . .»

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

— Послушайте, какая у меня приключилась история с ударником. То есть, с тем самым музыкантом в оркестре, который играет на турецком барабане и металлических тарелках, — сказал мне однажды Евгений Петров. — Сижу я как-то в опере, в ложе над оркестром. Сижу и по привычке внимательно наблюдаю за тем, что происходит подо мной, в оркестровой яме. И вот вижу — ударник, этакий бравый мужчина в больших очках, играет в шашки с свободным от работы оркестрантом. Играет — ну и пусть, думаю, играет. Но вот наступает момент, когда, как мне известно, через минуту или две обязательно надо ударить в тарелки. Я точно помню, что именно здесь полагается звенеть тарелками. А он увлекся шашками. Проходит минута. Я обливаюсь холодным потом. Он непременно пропустит момент, обязательно пропустит из-за этих глупых шашек, черт бы их побрал! Я выхожу из себя. Я вскакиваю с места. Я уже собирался крикнуть ударнику, чтобы он... Но в эту секунду он спокойно приподнимается со своего места, ударяет два раза в тарелки и опять садится за шашки. Смешная история, правда? Но самое смешное — то, что история эта стоила мне много здоровья...

КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ОТМЫЧКА»

В 1932 году «Крокодилу» исполнилось десять лет.

Утверждать, что страна бурно отмечала эту дату, было бы явным преувеличением. И мне хочется напрячь все свои силы, чтобы избегнуть этого.

Поэтому признаюсь, что страна отнеслась к юбилею с завидным спокойствием. Но в редакции журнала за-

суетились — решили считать дату знаменательной и отметить ее.

Стали готовить специальный юбилейный номер журнала. В номере, кроме всего прочего, предполагалось напечатать фельетон Ф. Толстоевского.

Напомним молодому читателю, что И. Ильф и Е. Петров очень часто в ту пору печатались под этим псевдонимом.

И вот в назначенный день явились в редакцию Ильф и Петров с пустыми руками. Добрейший и милейший Михаил Захарович Мануильский, тогдашний редактор, был вне себя, но сердиться он не умел, и его выговоры нерадивым авторам не отличались высокой квалификацией.

— Товарищи! — сказал он Ильфу и Петрову.— Нехорошо... Ей-богу, нехорошо... Поймите — нехорошо...

— Завтра будет хорошо,— сказал Ильф.

— Завтра рано утром мы принесем,— добавил Петров.

— Всю ночь будем работать как проклятые,— сказал Ильф.

— Не будем ни спать, ни есть,— добавил Петров.

Но редактор был неумолим. В его голосе появился металл.

— Садитесь вот за этот стол и работайте,— сказал он.— Вы не уйдете отсюда, пока не напишете фельетон. Понятно?

— Ничего не попишешь — придется писать!

Не помню, кому именно принадлежало это восклицание, но друзья осуществили свое намерение.

Они сели в углу комнаты за маленький столик и приступили к работе, не обращая ни малейшего внимания на всех прочих, находящихся здесь же, — на сидящих, курящих, говорящих, шумящих.

Садясь к столу, Ильф торжественно произнес:

— Первая фраза фельетона должна быть такая — «Позвольте омрачить праздник».

А минут через десять мы услышали, как Евгений Петрович читал Ильфу черновой набросок тех строк, в которых намечалась тема вещи!

— «О читателе нужно заботиться не меньше, чем о пассажире. Его нужно предостеречь.

Именно с этой целью здесь дается литературная фотография («Анфас и в профиль!» — добавил Ильф) поставщика юмористической трухи и сатирического мусора».

— «Работа у него несложная, — добавил Ильф. — У него есть верный станок-автомат, который бесперебойно выбрасывает фельетоны, стихи и мелочишки, все одной формы и одного качества».

Так они сидели и работали, спорили, смеялись. Иронизировал Ильф, горячился Петров.

И все явственнее возникал в этих спорах острый фельетон против халтурщиков на сатирическом фронте.

В фельетоне были пародии на шаблонный международный фельетон, на такой же фельетон на внутреннюю тему, но особенно, по-моему, удалась пародия на эпиграф («Из газет») к стихотворному фельетону.

Вот этот эпиграф:

«Сплошь и рядом наблюдается, что в единичных случаях отдельные заведующие кооплавками, невзирая на указания районных планирующих организаций и неоднократные выступления общественности и лавочных комиссий, частенько делают попытки плохого обращения с отдельными потребителями, что выражается в недовывешивании прейскурантов розничных цен на видном месте и нанесении ряда ударов метрическими гирями по

голове единичных членов-пайщиков, внесших полностью до срока новый дифпай. Пора ударить по таким настроениям, имеющим место среди отдельных коопголовотяпов.

(Из газет)»

После этого маловразумительного эпиграфа следовал фельетон, состоявший из четырех стихотворных строчек:

Нет места в кооперативном мире
Головотяпским сим делам.
Не для того создали гири,
Чтоб ими бить по головам. . .

Редактор торжествовал. Фельетон получился, и очень неплохой фельетон!

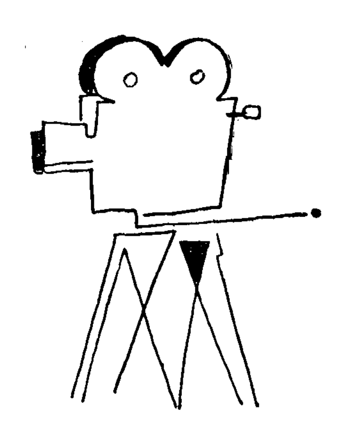
Они много работали. Они любили работать.

Они страстно любили свой жанр, но при этом не чурались никакой черновой работы в журнале.

Они были уже почитаемыми и читаемыми писателями, но если нужно было отредактировать читательское письмо, они это охотно делали. Написать десятистрочную заметку? Пожалуйста! Шутливый диалог из двух строк? С удовольствием! Смешную подпись под карикатурой? Давайте сюда!

Они никогда не играли в маститых.

В этом, вероятно, и состоял один из «секретов» их популярности у читателей и любви, с какой мы все неизменно к ним относились.



ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ • «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»

Сценарий И. Ильфа и Е. Петрова «Однажды летом», написанный ими в конце 20-х годов, после выхода «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», представлял собой для актера нечто весьма заманчивое. А мне еще предстояло быть занятым в будущем фильме не только в качестве актера, но и принять участие в режиссерской работе. Предполагалось, что картина будет сниматься в Киеве, в «Украинфильме».

Вот в связи со всем этим я и оказался в Нащокинском переулке, в тихом Пречистенском районе Москвы. Чем-то уютным и родным повеяло на меня от этого тихого переулка и от дома, куда мне предстояло войти,—

может быть оттого, что находился он неподалеку от места, где я провел свои детские и гимназические годы.

Скромная писательская надстройка на старом московском доме была по тому времени высшей радостью, о какой могли мечтать многие наши писатели. И, главное, — маленькие, только что полученные квартирки Ильфа и Петрова были «отдельными». В крохотных своих кабинетиках писатели чувствовали, судя по всему, прилив творческих сил, их наконец посетило чувство устроенности и душевного уюта.

Книжные полки в квартире Петрова были завалены «Двенадцатью стульями» и «Золотыми теленками» чуть ли не на всех языках мира. Меня поразило тогда, как быстро приобрели наши молодые писатели мировую известность. Помню, что это было для меня неожиданно.

Пришел я в тот день именно в квартиру Петрова, и это было не случайно, потому что Евгений Петрович — человек живой и деятельный — как мне показалось, являл собою деловое и представительное начало содружества «Ильф и Петров».

С Евгением Петровичем и началась деловая беседа, касавшаяся организационной стороны нашего дела. А когда пришел Илья Арнольдович, мы занялись обсуждением и исправлением некоторых эпизодов сценария.

Поначалу мне почудилась в Ильфе какая-то сдержанность. Казалось, Петров захватил творческую инициативу, первенствовал в выдумке, смелее фантазировал, предлагая все новые и новые варианты. Ильф не проявлял такой активности. Но то ли в дальнейших встречах, то ли уже в конце первой, я понял, что писатели составляют одно нераздельное целое. Ильф неизменно направлял неуемную фантазию Петрова в нужное русло, отсекая все

второстепенное и менее важное, а та необыкновенная тонкость, которую он привносил в их работу, и те мелочи, которые добавлял от себя, озаряли и обогащали необычайным светом задуманную сцену. Петров со своей стороны безоговорочно принимал великолепные поправки и добавления Ильфа и сам вдохновлялся этими находками в новых порывах своей фантазии. Мне нравилось, что работа шла непринужденно и быстро: целые сцены и очень существенные поправки в придуманных прежде сочинялись здесь же, при мне и режиссере, иногда приходившем со мной. А когда нам случалось с чем-то не согласиться, в добрых глазах Петрова появлялось выражение задумчивости, и, видимо осознав фальшь или искусственность сцены, он бросал взгляд на Ильфа. Чаще всего тот добродушно кивал головой, подтверждая справедливость критических наших замечаний, и тогда оба они дружно отказывались от своего предложения и с новым увлечением отдавались поискам нового варианта.

Оба они отличались совершенно особой чуткостью. Очень скоро им уже просто не нужно стало спрашивать о моем мнении или о мнении моего товарища. По нашим глазам и даже по характеру нашего молчания они точно угадывали — увлечены мы или равнодушны к их мыслям и предложениям. Иной раз нам казалось необходимым для поддержания творческого настроения похвалить то, что не особенно нравилось. Но их было трудно обмануть. Через несколько минут они сами возвращались к такой сцене и чаще всего исправляли ее.

Вот, кажется, единственный раз и довелось мне соприкоснуться с Ильфом и Петровым в рабочей, дружеской обстановке. Несколько встреч в единственной совместной творческой работе — и... все. Встречались мы, правда, и после этого, но это были мимолетные встречи

в театрах, в общественных местах или на курортах, когда мы ограничивались приветливыми и ласковыми знаками внимания, выражавшими любовь, какую мы питали друг к другу издалека.

Думается мне, что дружба этих писателей была примером творческой верности. Да и только ли творческой?..

В творческих встречах, о которых я упоминал, мне стало ясно, что Ильф и Петров не терпят трескотни, помпезности и шумихи вокруг своих произведений. Помню, как они были огорчены, когда в фильме «Цирк» талантливый режиссер Г. В. Александров сделал в их сценарии целый ряд добавлений и украшений. Богатая «постановочность» картины испугала наших авторов. Они явно хотели, чтобы режиссер держался ближе к их замыслу. По их мнению, Г. В. Александров сделал не тот фильм, о котором они мечтали,— видимо, им казалось, что все в фильме должно быть проще, сдержанее и скромнее.

Фильм Г. В. Александрова, как и игра Л. П. Орловой имели огромный успех и признание, но авторы и тут, сознавая победу Александрова, упорно отстаивали свою точку зрения, хотя не могли, конечно, не радоваться успеху.

Вот и с нами Ильф и Петров не жалели доводов, чтобы убедить нас делать фильм поскромнее. В то время в кино многие режиссеры, так сказать, «смотрели в будущее». Студенты жили в их фильмах в «шикарных» общежитиях с мраморными бассейнами и белыми роялями, одеты были в ослепительно нарядные костюмы. Скромные рабочие клубы изображались в виде великолепных дворцов с изысканной мебелью. Действительно, через десяток лет кое-что из этого стало реальностью, но в те времена такие фильмы были больше чем «лакировкой действительности».

По ходу действия нашего фильма должна была строиться декорация железнодорожного рабочего клуба.

В киностудии очень хотели, чтобы мы построили рабочий Дворец культуры нового и даже «будущего» типа, но Ильф и Петров категорически настаивали на том, чтобы это был захудалый, летний железнодорожный клуб, обнесенный ветхим забором.

И правильно настаивали. Потому что жульнические махинации заезжего фокусника, шарлатана Сен-Вербуза, были бы совсем неуместны в новом Дворце культуры. Такие типы, как Сен-Вербуз, могли орудовать только в отсталых плохоньких клубиках.

Словом, авторы склонны были скорее снисходительно относиться к режиссерской «бедности», чем к претенциозным, помпезным постановочным излишествам.

Верность авторскому замыслу, достоверность в изображении и игре, даже в самых гротескных моментах сценария, были для них дороже всего.

Увы, фильм наш прошел незаметно, не получил признания, и, может быть, поэтому дальнейшая наша творческая связь оборвалась.

Жизнь неслась быстро, события, самые невероятные, мелькали, обрушивались на нас, заполняли полностью нашу жизнь и делали ее все более стремительной и быстротекущей.

И вот в этом мелькании событий — горестное известие: после поездки по Америке Ильф тяжело заболел. Сообщив мне об этом, Петров заметил, как мне тогда показалось, успокаивая себя самого:

— Он устал, поездка была тяжелая, шутка сказать — через всю страну в автомобиле. Отдохнет, отойдет...

Я вспомнил Ильфа, его крепкую фигуру, румяные

щеки, и проникся доверием к словам Петрова. Конечно же пустяки.

Но промчалось еще несколько месяцев — и снова тревожная весть: Ильф серьезно болен. Тяжело это было услышать, но и тут, признаюсь, я не испытал большого беспокойства.

И вдруг совсем скоро: Ильфа не стало.

И еще через несколько времени — вечер памяти Ильфа. Зал студенческого клуба МГУ, переполненный сверх всякой меры. Студенты, профессора, журналисты, рабочие, писатели, артисты. Сцена заполнена друзьями, близкими. Читаются произведения Ильфа и Петрова. Я не исполнял тогда, к величайшему моему сожалению, ни их великолепных фельетонов, ни отрывков из других произведений. Как было показать мою любовь и преклонение перед ушедшим писателем? И взялся читать по книге. Читал плохо... Читал и чувствовал, с какой любовью, с каким благоговейным вниманием впитывает зал каждое слово любимых своих писателей.

И долго потом я не мог отделаться от мысли: Петров осиротел... Как же он теперь будет работать?

И вот вторая мировая война... И неожиданно в вихре событий мы услышали голос Петрова.

В его фронтовых корреспонденциях меня восхитили замечательные, умные строки о том, что в этой войне побеждает и победит не тупой и точный гитлеровский план войны, а план и порядок, составленный с учетом хаоса и неожиданностей беспорядка в военных событиях. Мне послышались здесь развитые и обобщенные толстовские мысли об Аустерлицком сражении и об абсурдности точного учета событий на поле боя... И мне стало ясно, что Петров и без Ильфа остается большим

и умным писателем, который долго еще будет радовать нас своим творчеством.

И почти тут же — новое известие: Евгений Петров погиб в прифронтовой полосе во время авиационной катастрофы. Случайно, нелепо, трагически. . .

Когда-то, в дни юности, Маяковский был для меня примером и образцом нового человека, самым ярким и увлекательным, наиболее полно и цельно отразившим нашу эпоху. Он был солдатом Революции, и перо было его оружием.

Вспоминаешь Ильфа и Петрова, видишь добрые глаза Евгения Петровича, проницательный, немного иронический взгляд умных и таких же добрых глаз Ильфа, и становится ясно: оба они были «газетчиками» в лучшем и высшем смысле этого слова, такими же непримиримыми, как Маяковский. И их тоже следовало бы назвать солдатами Революции.

Отличительной чертой их творчества была интеллигентность в самом высоком ее понимании и глубокая гуманность. Все силы своего сердца они отдавали борьбе с грязью и пошлостью жизни, не брезгуя самыми «мелкими» поводами для своих фельетонов. И они умели находить в «героях» этих фельетонов то типическое, ту злую силу, которая делала их живучими и помогла всем этим «веселящимся единицам» и «безмятежным тумбам» дожить до нашего времени.

Нынче нам приходится иногда сталкиваться с фельетонами, где вместо обобщенных типических персонажей фигурируют реально существующие лица, действующие под истинными своими именами.

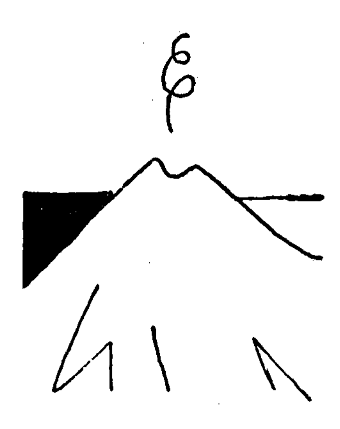
Когда такой «герой» пытается опровергнуть некоторые преувеличения, содержащиеся в фельетоне, ему говорят: вы имеете дело с художественным произведением,

и здесь необходима фантазия. Между тем, такая «фантазия» иногда граничит с клеветой и может привести к очень печальным последствиям.

Как далеки были Ильф и Петров от подобных «творческих методов»!

Человек и человеческое достоинство были для Ильфа и Петрова прежде всего и превыше всего. И именно это побуждало их быть гневными, страстными бойцами и беспощадно расправляться с пошлыми, жестокими и тупыми воплощениями чуждого нам мира.

Мне, как актеру, тоже довелось в меру моих сил повоевать с этой нечистью на сцене и на экране, и мне особенно близка и мила эта сторона творчества замечательных наших сатириков.



БОР. ЕФИМОВ ●

МОСКВА, ПАРИЖ, КРАТЕР ВЕЗУВИЯ...

Первую вещь Ильфа и Петрова, с которой мне довелось познакомиться, я не прочел, а услышал: ее с большим оживлением и явным удовольствием прочитал мне вслух мой брат, Михаил Кольцов. Это был «Рассказ о гусаре-схимнике».

— Что? Правда, здорово? — спросил он.— Талантливые ребята! Я хочу напечатать это в «Огоньке».

Мне тоже очень понравилась история о графе Алексее Буланове, причем я решил, что это самостоятельная сатирическая новелла, тонко и остроумно пародирующая некий литературный жанр. Подзаголовок «Отрывок из романа «Двенадцать стульев» я не принял всерьез. «Две-

надцать стульев»? Роман? Как может роман называться «Двенадцать стульев»?

«Рассказ о гусаре-схимнике» действительно появился в «Огоньке», если не ошибаюсь, с моими иллюстрациями, и после этого Илья Ильф и Евгений Петров начали систематически печататься в «Огоньке», «Крокодиле», «Чудаке» и «За рубежом» — журналах, которые редактировал в те годы Кольцов. Он очень симпатизировал молодым соавторам и дружески поддерживал на трудных этапах в начале их литературного пути.

Я сам слышал, как он с увлечением рассказывал А. М. Горькому о романе «Двенадцать стульев»:

— Это умная сатира, Алексей Максимович, очень смешная и смелая. И, может быть, поэтому встречает весьма кислое и недоброжелательное отношение некоторых чрезмерно нахмуренных критиков.

— Не читал, уважаемый Михаил Ефимович, не читал. И посему лишен возможности высказать свое отношение,— басил Горький.

— Обязательно прочтите, Алексей Максимович,— горячо говорил Кольцов,— найдите время. Ей-богу, не пожалеете!

С трибуны Первого Всесоюзного съезда писателей, выступая против неправильных, ханжеских попыток «отменить» советскую сатиру, Кольцов говорил:

«...Одному почтенному московскому редактору принесли сатирический рассказ. Он просмотрел и сказал: «Это нам не подходит. Пролетариату смеяться еще рано, пускай смеются наши классовые враги». Это, товарищи, вам кажется диким. И мне тоже. Но я вспоминаю, и не только я, а многие здесь вспомнят, как на одном из последних заседаний покойной РАПП, чуть ли не за месяц до ее ликвидации, мне пришлось при весьма неодобри-

тельных возгласах доказывать право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров. . .»

В моей памяти почему-то не сохранились обстоятельства, при которых я впервые увидел Илью Ильфа. Но первую встречу с Евгением Петровым помню хорошо. Это было летом 1928 года в «утомленных солнцем» Гаграх.

— Знакомься,— сказал мне брат,— это Остап Бендер.

Высокий черноволосый молодой человек весело посмотрел на меня узкими, чуть раскосыми глазами.

— Михаил Ефимович шутит,— степенно сказал он, протягивая руку.— Петров моя фамилия.

Я ничего не понял. Романа «Двенадцать стульев» я еще не читал и не знал (сегодня это звучит странно), кто такой Остап Бендер. . .

Всех встреч с Петровым, а затем и с Ильфом не упомнить. Много их было: и в редакции «Чудака», и в «Крокодиле», и на квартире у Кольцова, и в его кабинете в Журнально-газетном объединении на Страстном бульваре, и на Клязьме, где впоследствии поселились Евгений Петров, Борис Левин и Константин Ротов.

Мне незачем здесь рассказывать, как творчество Ильфа и Петрова в короткое время завоевало всеобщее признание и любовь, как уверенно и полноправно вошли они в «обойму» талантливейших сатириков нашей страны. Незачем говорить, что и я принадлежал к числу усерднейших их читателей и по многу раз перечитывал (делаю это и по сей день) наиболее полюбившиеся страницы из их фельетонов и романов.

Как писатели Ильф и Петров сливались в моем вос-

приятии воедино, но личное отношение к каждому из них не было, конечно, одинаковым. С обоими связывали меня хорошие дружеские отношения, но легче и свободнее я чувствовал себя, откровенно говоря, с Петровым. В нем было меньше той едкой, беспощадной иронии, которой природа щедро одарила Ильфа. С Ильей Арнольдовичем надо было держать ухо востро: его остроумие, уверенные и меткие суждения, веселые колкости, на которые он был великий мастер, не только восхищали и смешили, но и вызывали некоторую опаску. Многие просто побаивались его языка, его умения одной фразой, словом, интонацией пригвоздить штампованную мысль, трафаретную остроту, малейшее проявление безвкусицы и мещанства.

Петров был человеком экспансивным и увлекающимся, способным легко зажигаться и зажигать других.

Ильф был другого склада — сдержанный, немного замкнутый, по-чеховски застенчивый. Впрочем, и он был способен на резкие вспышки, когда его выводили из себя пошлость, неправда, равнодушие, хамство. И тогда во всю силу своего бурного темперамента его поддерживал Петров.

Их содружество было на редкость цельным и органичным. Оно радовало не только своим литературным блеском, но и благородным моральным обликом, — это был чудесный союз двух чистых, неподкупно честных, глубоко принципиальных людей.

Из множества воспоминаний об Ильфе и Петрове мне хочется привести здесь наиболее, так сказать, «живописные» — совместное наше участие в заграничном плавании Черноморского флота.

Это было осенью 1933 года. В ожидании отплытия мы прожили несколько дней в скромной севастопольской гостинице, много гуляли, шутили, веселились, посещали исторические места прославленного города.

Ильф, который всегда был худым, в этот период немного пополнел, что его почему-то очень забавляло. Помню, как он время от времени подходил к стенному зеркалу в коридоре гостиницы и, оглядывая с деланным самодовольством свое отражение, вопрошал:

— Кто этот толстенький господинчик в пенсне?

После естественных волнений, связанных с распределением группы писателей и художников по кораблям эскадры, наступил наконец час выхода в море.

Ильф, Петров и я попали на флагманское судно, голубой красавец крейсер. На этом прекрасном боевом корабле, оснащенном по последнему слову техники, все было так подтянуто и прибрано, так гармонично пригнано одно к другому, что наши сугубо штатские фигуры в шляпах и помятых демисезонных пальто бессовестно нарушали (мы это сами чувствовали и сознавали) безукоризненную и величественную симметрию крейсера, резали глаз настоящим морякам.

Особенно портилось настроение у старпома. Лицо этого красивого и стройного офицера с идеальной морской выправкой выражало подлинное страдание, едва мы появлялись на верхней палубе.

— Всем с левого борта-а! — кричал он звучным голосом, глядя куда-то в сторону, хотя в этот момент на левом борту, кроме нас, не было ни единого человека.

Внизу, за обеденным столом, он становился несколько добрее и благодушно пересказывал другим офицерам отдельные эпизоды из похождений Остапа Бендера, которого, однако, упорно именовал «Остап Бандас». При этом

Петров смотрел на меня, я — на Ильфа, тот обращал задумчивый взор на старпома, но поправить никто почему-то не решался.

Погожим октябрьским утром эскадра вошла в Босфор и бросила якоря у стен Стамбула. Три дня без устали бродили мы по извилистым улицам этого старого, причудливого, много видевшего на своем веку города.

Первым делом мы кинулись, конечно, к Айя-Софии и Голубой мечети, бродили по пустым и мрачным султанским покоям в Большом серале, посетили знаменитый Семибашенный замок, побывали на древней площади Ипподрома, глазели на Розовый обелиск и Змеиную колонну, косились в сторону выходящей на эту же площадь зловещей средневековой, но исправно функционирующей и в наши дни тюрьмы.

Удивляясь, шагали мы по Галатской лестнице — отлого спускающейся к Золотому Рогу живописной ступенчатой улице с бесчисленными пестрыми магазинчиками, лавочками, кофейнями и харчевнями, окутанными острыми, пряными запахами. В прилегающих к «лестнице» кривых и запутанных переулках, куда мы не отваживались углубляться, можно было наблюдать мрачноватую «экзотику» всемирно известных портовых притонов.

Турецкие власти и общественность оказали советским морякам любезную встречу. В честь гостей состоялись приемы и банкеты на берегу, одновременно поток заинтересованных и любопытствующих устремился на корабли. Приходили депутаты меджлиса, редакторы крупнейших газет, многочисленные журналисты, особый интерес которых привлекала, между прочим, походная типография флагманского крейсера, печатавшая газету «Красный черноморец».

Обилие взаимных приветственных речей и неизбежных в этих случаях словесных штампов не осталось незамеченным, и долго еще Женя Петров до слез смешил нас импровизацией застольного спича, составленного из нескольких повторяющихся слов:

— Гас-пада! Узы дружбы, являющиеся теми дружественными узами, которые дружески связывают нас тесными узами дружбы, представляют собой подлинные дружеские узы. И эти узы дружбы, будучи тесными дружескими узами, дороги нам именно, как те узы, которые дружески связывают. . .

И, хотя Ильф и я неоднократно слышали уже в исполнении Петрова этот спич, мы неудержимо начинали хохотать, как только Женя, свирепо выпучив глаза и забавно выпятив нижнюю губу, с пафосом начинал:

— Гаспада! У-узы дружбы. . .

Центральным и самым волнующим моментом пребывания советской эскадры в Стамбуле была эффектная и внушительная церемония возложения венка к памятнику Независимости. Стояла прекрасная погода. В парадном строю, четко печатая шаг, оглашая залитые солнцем улицы Стамбула громом и звоном краснофлотского оркестра, советские моряки с командованием во главе прошли по городу к площади Таксим.

Командующий эскадрой контр-адмирал Ралль и командиры кораблей подняли огромный красный венок и прислонили его к подножию мраморного шатра, под которым верхом на коне стоял бронзовый Кемаль. Поплыли торжественные звуки «Интернационала».

Стоя в гуще многотысячной толпы, мы с Ильфом и Петровым горделиво посматривали на окружающих,

как будто они могли знать, что мы имеем какое-то отношение к этой красивой и могучей силе под краснозвездным знаменем.

Двадцать пять лет спустя мне снова довелось побывать на площади Таксим, и я вспомнил своих милых, веселых спутников, стоя у памятника Независимости. Теперь это название звучало двусмысленно: это действительно был памятник независимости, так как самой независимости Турции, увы, не было и следа, о чем красноречиво свидетельствовали болтающиеся повсюду звездно-полосатые флаги и развязные фигуры фланирующих с хозяйским видом «союзников» Турции по НАТО — американских солдат и офицеров.

. . .На другой день эскадра снялась с якоря. Мы пошли Дарданеллами вдоль зловещей панорамы разрушенных укреплений, валяющихся на галлиполийском берегу ржавых орудий, проволочных заграждений и заброшенных кладбищ — мрачных свидетелей империалистической войны, печально знаменитой «дарданелльской операции» Черчилля. Корабли вошли в Эгейское море и взяли курс через архипелаг — на Пирей.

Помню, как Женя Петров снимал пальцем нежную рыжеватую пыльцу, покрывшую поручни и снасти крейсера, и, поднося ее к моему носу, торжественно спрашивал:

— Боря! Вы понимаете, что это такое? Это — песок пустыни, принесенный ветром из Африки! Здорово?! Песок пустыни! В Средиземном море! ! !

Волновали его и перелетные птицы, садившиеся отдохнуть на могучих башнях и орудиях военного корабля. Женя осторожно брал птичек в руки, заботливо согревал в ладонях и снова выпускал на морской простор.

Прибытие в греческий порт Фалерон ознаменовалось прежде всего тем, что в матросском кубрике, где я спал

сладким сном, ранним утром меня энергично растолкал Женя Петров.

— Как вам не стыдно спать, ленивец вы этакий! — восклицал он с характерными для него певучими интонациями.— Ей-богу, Боря, я просто вам удивляюсь! Мы в Греции, понимаете вы? В Элладе! Фемистокл! Перикл! Наконец, тот же Гераклит! «Все течет, все меняется»... Вы знаете, что в этом изречении заложена, по существу, самая настоящая диалектика! Между прочим, Морозов[1] просил написать для газеты маленькую популярную статейку о Греции. Давайте возьмемся, а? Я думаю прямо с Гераклита и начать. «Все течет, все меняется...» Это же просто замечательно!

В Афинах мы отдали дань восхищения Парфенону, Эрехтейону и другим классическим красотам. На Акрополе Петров несколько раз хватал меня за руку и возбужденно говорил:

— Вы понимаете, что, может быть, на этом самом камне сидел старик Гераклит и писал свое «Все течет, все меняется»! Потрясающе, правда?

У меня сохранилось фото, снятое на вершине Акрополя. На мраморной глыбе под могучими колоннами Парфенона сидят Ильф, Ротов, Левин и я. Над нами высится тонкая фигура Петрова. А сбоку стоит еще один наш спутник — загадочный персонаж, которого мы между собой называли «сын лейтенанта Шмидта». Дело в том, что среди моряков распространился слух, что этот молодой человек — путешествующий инкогнито сын одного весьма влиятельного товарища. Слух этот впоследствии не подтвердился, но тогда доставил нам немало пищи для веселья.

---

[1] Редактор «Красного черноморца».

Не в меньшей степени, чем античное искусство, нас интересовал быт, нравы, уличная жизнь современных Афин. Петров был неутомим в отыскивании всяческих занятных и колоритных уголков города, рынков, трактирчиков. Он общительно вступал в разговоры с прохожими, официантами и даже детьми, пуская в ход фантастическую смесь русских, английских и греческих слов, подкрепляя энергичными жестами.

Очень забавным было одно случайное (а может быть, и не случайное) уличное знакомство. Заслышав русскую речь, к нам привязался расторопный и бойкий молодой человек, отрекомендовавшийся Леонидом Леонидисом.

Не успевали мы показаться на улице, как он вырастал перед нами, как из-под земли. Проявляя необычайную классовую сознательность, он с огромным жаром разоблачал язвы капиталистического строя в Греции и предрекал ему неминуемую и скорую гибель, конечно, при активной поддержке советских товарищей. Он шумно доказывал, что налицо все признаки близкого краха греческой буржуазии и было бы просто грешно не использовать столь благоприятную ситуацию.

— Скорей! — кричал на всю улицу Леонид Леонидис, указывая куда-то рукой.— Здесь недалеко только что обанкротился один крупный владелец магазина. Пойдем посмеемся над этим эксплуататором!

Все это было забавно и детски наивно, но от ретивого борца с капитализмом здорово попахивало примитивной полицейской провокацией, и, почти не стесняясь его присутствия, Женя Петров говорил вполголоса, наклонившись к моему уху:

— Сейчас он скажет: «Идемте, я знаю местечко, где можно достать чудные бомбы, чтобы взорвать королевский дворец. . .»

В своих путевых очерках Ильф и Петров вспоминают этот эпизод, описывая привязавшегося к нам типа под именем Павла Павлидиса.

Переход эскадры из Греции в Италию проходил при плохой погоде. Прославленной средиземноморской лазури не было и в помине. Сильный ветер вздымал свинцовые злые волны. Наш крейсер шел твердо и был устойчив, как скала, но следовавшие за ним миноносцы так зарывались носом в воду, что просто страшно было смотреть. И мы с Ильфом и Петровым искренне болели душой за находившихся там наших товарищей — писателя Бориса Левина и художника Константина Ротова, которые отнюдь не были презирающими качку старыми, просмоленными морскими волками...

Вечером мы вошли в Мессинский залив и увидели изумительное зрелище: бесчисленные огни городов Реджио и Мессины, огни на горах и дорогах Сицилии и подсвечивающее этот ночной пейзаж багровое зловещее пламя действующего вулкана Стромболи. А утром перед нами открылась неправдоподобно красивая, идиллическая панорама Неаполитанского залива.

Итальянские власти встретили советских гостей весьма радушно. По всем правилам международного этикета, стороны обменялись салютами, гимнами, приветствиями, визитами, обедами и тостами. Экипажам кораблей была предложена традиционная туристическая программа. Огромные красные автобусы развозили моряков по всем достопримечательным местам Неаполя. В образовавшейся на берегу суматохе я потерял своих спутников и, сев в первый подвернувшийся автобус, очутился в экскурсии на Везувий.

Надо сказать, что знаменитый вулкан, уже много лет не подававший признаков деятельности, как раз в этом году стал весьма активен. Днем тяжелое облако дыма, вечером грозное, кроваво-красное зарево висело над Везувием.

Мы поднялись к вершине вулкана в ступенчатых вагончиках фуникулера и из ясного дня сразу попали в холодный туман и неприятный, моросящий дождик. Экскурсантам роздали обшитые красной каймой черные шерстяные плащи с капюшонами, в которых мы сразу стали похожи на монахов или разбойников из оперы «Фра-Дьяволо». Потом нас повели гуськом по обрывистому, скалистому краю. Туман настолько сгустился, что я видел только ближайших соседей по цепочке. Еще несколько минут — и мы подошли к страшному провалу, окутанному желтоватыми клубами густого дыма. Это был вновь открывшийся кратер вулкана. В глубь его вела отлогая, спиральная и, казалось, бесконечная каменистая тропинка. Мы шли в удушливых серных испарениях, задыхаясь и кашляя, держась за веревки, натянутые на железные колья. Наконец спуск закончился, дым несколько рассеялся, и глазам представилось совершенно фантасмагорическое, я сказал бы, адское зрелище.

Громоздясь причудливыми пластами и завитками, кругом шевелилась и пузырилась раскаленная лава. Местами уже остывшая, пепельно-серая, она лежала неподвижно, похожая на туго свернутые кольца чудовищных канатов, а тут же рядом, огненно-жаркая, просвечивающая изнутри багровым пламенем, она медленно наползала, словно раскаленная паста, неведомо кем выдавливаемая из огромного тюбика. Откуда-то снизу доносился страшный урчащий гул.

Старик итальянец в потертом пиджаке брал у туристов

мелкие монеты, отрывал железным крючком клочок полуостывшей лавы, «запекал» монету в еще теплом каменном тесте и бойко торговал этими, тут же фабрикуемыми, сувенирами. Я тоже полез в карман за монетой, но в этот момент чья-то рука схватила меня за плечо. Я обернулся и очутился нос к носу с одетым в черный разбойничий плащ Женей Петровым. Глаза его возбужденно сверкали. Он был в полном восторге.

— Вот это встреча, Боря! А? — кричал он.— Подумайте! Мы будем вспоминать ее всю жизнь! Мы будем говорить так: «Что-то мне ваше лицо знакомо, где это мы с вами встречались? В «Огоньке»? Нет. В Доме писателя? Нет, не в Доме писателя. На Клязьме? Нет, и не там... А, вспомнил, вспомнил! В кратере Везувия!»

Выбравшись наружу и спустившись на фуникулере, мы снова попали в теплый, солнечный день. После похожей на кошмар фантастики подземных недр было особенно приятно и уютно очутиться в комфортабельном ресторане на склоне Везувия, на банкете, который итальянский адмирал Новарро давал в честь командного состава флотилии и прибывшего из Рима полпреда СССР.

На другой день советские корабли отплыли в Севастополь. Мы распрощались с нашими товарищами по морскому походу: полпред Владимир Петрович Потемкин пригласил Ильфа, Петрова и меня погостить у него несколько дней в Риме. Так друзья-соавторы впервые, а я вторично попали в Вечный город.

Нас поселили в одном из многочисленных апартаментов старинного особняка на Виа Гаэта, где и сейчас находится советское посольство. Каждое утро мы Владимиром Петровичем и его женой Марией Исаевной приглашались к завтраку.

Мы очень любили эти утренние встречи — они всегда

сопровождались интереснейшими, яркими, полными юмора и метких наблюдений рассказами Владимира Петровича. Как говорится, затаив дыхание слушали мы и об эпизодах гражданской войны (Потемкин был в ту пору начальником Политотдела Южного фронта), и о любопытных чертах Мустафы Кемаля, с которым Владимир Петрович общался, будучи на дипломатической работе в Анкаре, и об архитектурных сокровищах эпохи Возрождения, и о зловещих тайнах двора Медичи во Флоренции XV века, и о его нынешнем, как он выражался, «дипломатическом партнере» Муссолини, и о простоватом короле-нумизмате Викторе-Эммануиле, и о разных занятных происшествиях посольской практики.

Незачем говорить, что мы обошли все знаменитые места Рима. Не повезло нам только с Сикстинской капеллой — она почему-то была закрыта. Ильф никак не мог успокоиться.

— Новое дело,— ворчал он,— Сикстина закрыта на учет. . . Ресторан закрыт на обед. . . Ватикан закрыт, так как папа дал обет. . .

Его очень смешил коммерчески-деловитый стиль папского государства. Ильф называл его банковским, тем более что Ватикан и в самом деле имеет свой самый настоящий банк под соответственно благочестивым названием: Банк Святого Духа.

Заходили мы и в сравнительно мало известную, но довольно любопытную церковь Святой лестницы (Санта-Скала). Здесь установлена очень высокая и крутая каменная лестница, привезенная из Иерусалима. По авторитетным сведениям папских археологов, именно по этой лестнице Христа водили на допрос к Понтию Пилату. И естественно, что набожные католики считают весьма полезным с точки зрения замаливания своих грехов раз

или два в год совершить восхождение по Святой лестнице. Однако не просто ногами, как по всякой другой, нормальной лестнице, а на коленях, с попутным чтением установленных на сей предмет молитв. При этом, между прочим, строго охраняется общественная нравственность, о чем свидетельствует плакат с четкой надписью: «Запрещается восхождение по Святой лестнице дамам и девицам в коротких платьях».

Святая лестница заинтересовала меня с чисто спортивной точки зрения и мне взбрело в голову испробовать такое упражнение.

Осыпаемый насмешками Ильфа и Петрова, я тем не менее, занял исходную позицию и довольно тяжело полез вверх. Однако уже на третьей или четвертой ступени я понял легкомыслие своего поступка: зверски заныли колени, и к тому же, откровенно говоря, стало очень жалко новых брюк. Воровато оглядевшись (за мною, к счастью, никто не поднимался), я «задним ходом» быстро сполз обратно. Соавторы торжествовали. . .

Незаметно пролетели римские дни. Поблагодарив Владимира Петровича и Марию Исаевну за гостеприимство, мы покинули Вечный город. Ильф и Петров по каким-то своим литературным делам поехали в Вену, а я направил свои стопы в Париж, где мы недели через две снова встретились.

Помню, как рано утром, прямо с вокзала, Ильф и Петров заявились в отель «Ванно», где их приветливо встретил Кольцов. Он жил тогда в Париже как специальный корреспондент «Правды», принимая активнейшее участие в битве с фашизмом, которая завязалась вокруг исторического Лейпцигского процесса.

Ильф и Петров оживленно рассказывали о своих венских и путевых впечатлениях, а я беспокойно ерзал на стуле — мне не терпелось поскорее показать им Париж. Ведь что может быть приятнее, чем выступить в роли чичероне для людей, впервые попавших в прославленный город!

Наконец прямо из отеля «Ванно» мы двинулись в путь. Мне очень хорошо запомнилось, как, смакуя звучные названия улиц и бульваров, выкладывая свои познания о Париже скороговоркой опытного гида, я повел друзей по Рю де Гренель, мимо советского полпредства, потом через бульвары Распайль и Сен-Жермен к набережной Анатоля Франса (. . .вот знаменитые букинистические лотки, где любил рыться господин Бержере), оттуда — к Бурбонскому дворцу (. . .здесь заседает Палата депутатов, или, на диалекте русских эмигрантов, «Шамбр, где депюте») и дальше через Пляс де ля Конкорд (тут были дружно процитированы стихи Маяковского) к Большим Бульварам.

Соавторы слушали меня с интересом, но не могли удержаться от ехидных замечаний.

— Ну, Боря, вы совершенно подавили нас эрудицией,— говорил Петров.

— Рассказывает урок, как первый ученик,— добавлял Ильф.— Но не спешите так. Дайте усвоить пройденное.

Париж очень понравился друзьям. Они называли его лаконично, с неподражаемой южной интонацией:

— Тот город!

Вечером я проводил их в знаменитую «Ротонду», где их принял под свою эгиду Илья Эренбург.

Все же первое время мы неизменно обедали втроем в одном симпатичном и недорогом ресторанчике на Монпарнасе.

Женя Петров с подлинно мальчишеским азартом увлекся непривычными блюдами французской кухни, подстрекая и нас с Ильфом отведывать всевозможные виды устриц под острым соусом, жареных на сковородке улиток, суп из морских ракушек, морских ежей и прочие диковины. Особенный успех имел рекомендованный Женей марсельский «буйябес» — острейший суп типа селянки, густо сдобренный кусочками различных экзотических моллюсков, не исключая и щупалец маленьких осьминогов.

Но Ильф вскоре взбунтовался.

— Надоели гады! — кричал он. — Хватит питаться брюхоногими, иглокожими и кишечнополостными! К черту! Притом имейте в виду, что несвежая устрица убивает человека наповал, как пуля. Я хочу обыкновенный антрекот или свиную отбивную! Дайте мне простой московский бифштекс по-гамбургски!

Слушая эти стенания, мы с Петровым, не сговариваясь, начинали хором цитировать катаевскую «Квадратуру круга»:

— «Я не хочу больше Карла Бюхнера. Я хочу большой кусок хлеба и не менее большой кусок мяса! .. Я хочу сала, хочу огурцов! ..»

Побушевав, Ильф смирялся.

— Ладно, — говорил он. — Давайте сегодня еще разок возьмем устриц. Все-таки это Париж. . .

Соавторы быстро акклиматизировались в Париже, окунулись в его кипучую жизнь, обросли знакомствами в литературно-художественных кругах.

Помню, как Петров рассказывал начало сценария, который они с Ильфом задумали для одной французской

кинофирмы. Сюжет был связан с только что организованной во Франции большой лотереей, главным выигрышем которой была ошеломляющая по тем временам сумма — пять миллионов франков. Возможность выиграть такой куш вызвала в стране подлинную лотерейную лихорадку. Фильм начинался так: некий скромный парижский служащий просыпается утром. Он смотрит на календарь и морщится — тринадцатое число. Подымаясь с постели, он замечает, что встал с левой ноги. В коридоре, когда он идет мыться, ему пересекает дорогу черная кошка. Бреясь, он разбивает зеркало, а садясь завтракать, опрокидывает солонку. Короче, на него обрушиваются все дурные приметы. И после этого, развернув газету, он видит, что его единственный лотерейный билет выиграл пять миллионов.

Как-то Кольцов обратился к Петрову:

— Слушайте, Женя, я был два дня назад у Анатолия Васильевича Луначарского. Он здесь, лежит в клинике. Он серьезно болен, скучает и очень доволен, когда к нему приходят. Возьмите Борю, Ильфа и сходите навестить старика. Это будет доброе дело.

Не помню уже почему, Ильф не смог пойти, и мы с Петровым отправились вдвоем.

. . .Холодный декабрьский вечер. Рю Лиотэ — коротенький тупик тихого парижского квартала Пасси.

Небольшая, ярко освещенная комната. Анатолий Васильевич один. Он лежит в постели, по одну сторону которой невысокая полка с множеством книг, по другую — телефон.

— Здравствуйте, здравствуйте. Вам немножко не повезло: вы застаете меня в постели. Еще вчера я чувствовал себя совсем молодцом, сидел в кресле одетым, соби-

рался даже выходить. Да вдруг какую-то каверзу подстроил желудок, и. . . вот, видите сами.

Анатолий Васильевич говорит с трудом, часто переводит дыхание.

Я внимательно вглядываюсь в исхудалое, бескровное лицо. По привычке стараюсь запомнить четкую линию профиля. Заострившийся костистый нос и длинный седой клинышек бороды придают Луначарскому сходство с портретами Дон-Кихота.

— Меня здесь очень тормошат,— продолжает Анатолий Васильевич,— но я очень рад, когда приходят наши. Откуда вы сейчас? Что видели? Присаживайтесь, рассказывайте.

Мы садимся в кресла по обе стороны кровати.

Завязывается беседа. Хотя, строго говоря, трудно назвать беседой наш разговор с Луначарским: постепенно увлекаясь и загораясь, он перенимает инициативу, как всегда, «овладевает аудиторией» и, с трудом поворачивая на подушке голову от одного из нас к другому, произносит блестящий полуторачасовой монолог. Это, по существу, обширный литературно-общественно-политический обзор. Сколько тем, сколько вопросов!

Анатолий Васильевич говорит о настроениях западной интеллигенции, о растерянности и пессимизме, овладевших многими европейскими деятелями культуры, об их страхе перед фашизмом и непонимании коммунистических идей. Он рассказывает о своих творческих планах в Испании — стране, чрезвычайно интересующей его своей древней культурой, в которой причудливо сочетались европейские и арабские влияния. О сходстве Испании и Италии, о художественных сокровищах Флоренции и Милана, о своем милом друге Владимире Петровиче Потемкине, о французской литературе и критике, о Марселе

Прусте и Достоевском... О многом и многом, увлекая нас и сам увлекаясь многообразием острых проблем современной культуры и политики, говорит этот больной, усталый и вместе с тем неутомимый, воинствующий человек, писатель, философ, коммунист.

Целиком во власти огромного впечатления, которое произвели на нас сила духа и блеск ума тяжело больного Луначарского, шли мы с Петровым обратно, взволнованно вспоминая подробности этого свидания.

— Нет, Боря,— говорил Евгений Петрович, возбужденно размахивая длинными руками,— я вижу, вы просто не отдаете себе отчета в том, что произошло! Хорошенько подумайте над тем, что мы видели. Слушайте! Мы с вами, два молодых здоровых парня, пришли проведать, то есть приободрить и отвлечь от мрачных мыслей старого, больного, я вам прямо скажу — умирающего человека. И что же случилось? Боря! Не мы на него, а он на нас благотворно подействовал своей бодростью, молодостью духа, оптимизмом, жаждой деятельности... Я вам честно говорю, он вдохнул в меня, да, наверное, и в вас тоже, новые силы, интерес к жизни... Какой человек! Ах, какой человек!

Увлеченные разговором, перебивая друг друга, мы незаметно проделали пешком длиннейший путь от Пасси до гостиницы.

А на другой день с еще неостывшим волнением Петров рассказывал о нашем посещении Луначарского в номере отеля «Ванно» Кольцову, Ильфу и немецкой писательнице-антифашистке Марии Остен. Много и горячо все мы говорили о Луначарском, о его необычайной эрудиции, литературном таланте, выдающемся ораторском даровании. Высказывали опасение, что дни Анатолия Васильевича сочтены, что вряд ли придется ему увидеть Мадрид, куда

он должен поехать в качестве полпреда Советского Союза. Говорили о том, как тяжело и горько, что такой незаурядный человек обречен уйти из жизни в расцвете лет, знаний и творческих сил, в разгаре больших литературных замыслов.

Так оно, увы, и произошло. Но никто из нас не знал и не мог знать, что такая же участь суждена была почти всем присутствующим.

Мог ли я думать в тот момент, глядя на своих собеседников, что всех их, молодых, полных энергии и творческих планов талантливых людей, ждет безвременная трагическая гибель?

Евгению Петровичу тогда оставалось жить всего девять лет, Марии Остен — восемь, Михаилу Кольцову — шесть, Ильфу — четыре года.

Зимой 1936 года я провел две недели в подмосковном доме отдыха «Остафьево». Там я встретился с Ильфом. Илья Арнольдович уже был тяжело, неизлечимо болен, но разговоров о своей болезни не любил и не поддерживал, был, как всегда, спокоен, остроумен и ироничен.

В его «Записных книжках» сохранились короткие, отрывочные записи этого периода, и среди них, между прочим, такая:

«Мы возвращаемся назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто с воротником из гималайской рыси. Он торопится к себе на второй этаж, рисовать сапоги. . .»

В этих, не совсем понятных для непосвященного читателя строчках, речь идет обо мне. Дело в том, что я работал тогда в «Остафьеве» над большим сборником карикатур «Фашизм — враг народов» и поставил себе, ввиду

напряженных издательских сроков, ежедневный «урок» — не менее пяти рисунков. А так как почти в каждой карикатуре антифашистского альбома неизбежно фигурировали штурмовики или эсэсовцы в соответствующем обмундировании, то на протяжении рабочего дня мне приходилось рисовать не менее десяти—пятнадцати пар сапог.

Ильф был в курсе дела и каждое утро за завтраком не забывал вежливо спросить:

— Сколько пар сапог выдано вчера на-гора́?

После «Остафьева» мне только один раз довелось увидеть Ильфа — на перроне Белорусского вокзала, когда газетчики и писатели пришли встречать приехавшего из Испании специального корреспондента «Правды» Кольцова.

А буквально через несколько дней брат и я пришли в Дом писателя отдать Илье Арнольдовичу последний долг. . .

Евгения Петрова в последующие годы я встречал довольно редко. В 1940 году он стал редактором журнала, в котором впервые был напечатан «Рассказ о гусаре-схимнике». За два года до этого был репрессирован и погиб Кольцов, и когда я разговаривал с Петровым, в его добрых глазах я читал глубокое, молчаливое сочувствие.

Последний раз я видел Женю незадолго до его гибели. Мы столкнулись в коридоре гостиницы «Москва», которая в первые годы Великой Отечественной войны перестала быть гостиницей в обычном понимании этого слова и превратилась в огромное общежитие, где месяцами жили писатели, журналисты, художники, общественные деятели, оставившие свои опустевшие, нетопленные квартиры. На одном этаже с Петровым жил и я. Евгений Петрович

зазвал меня к себе в номер. Здесь он извинился, лег на диван и прикрылся пледом.

— Что с вами, Женя? — спросил я.— Вы нездоровы?

— Ломит немного,— неохотно ответил он.— А послезавтра вылетать в Севастополь.

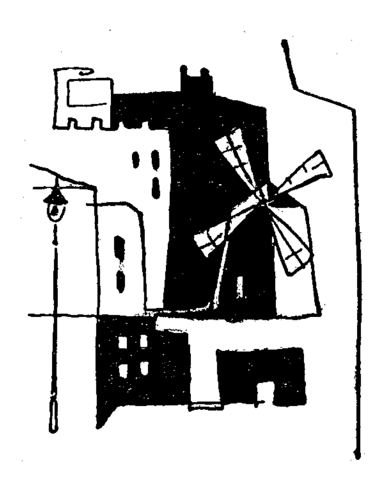
— Севастополь... Севастополь... А помните, Женя, голубой крейсер, старпома...

— Всем с левого борта! — засмеялся Петров.

Через полчаса я встал и начал прощаться.

— Ну, Женя,— сказал я,— счастливо!

И мы обменялись крепким рукопожатием.



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ ●

ИЗ КНИГИ [1]

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

[1] Глава из четвертой части книги «Люди, годы, жизнь».

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну, что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов»...

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария в поисках «гагов» участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинодрама погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и как многие писатели, смешившие миллионы людей — от Гоголя до Зощенко,— был скорее печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый человек;

ему хотелось, чтобы люди жили лучше, он подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают. . .» За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он говорил: «Немцам осточертела война». . .

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу, они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку, написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу,— умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: те нравы, которые мы именуем «культом личности», мало благоприятствовали сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку:

«Репертуар исчерпан» или: «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на путь. Он умер в чине Чехонте, а он как-то мне сказал: «Вот хорошо бы написать рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»... Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

— Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже.— «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ — сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета...»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел:

— А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибался и что в Сибири растут пальмы...

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород «в древнегреческом стиле со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции: одну — в Афины, другую — в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились: «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона».

В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в ужасе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто не собирается строить киногород. . .

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мнений канцелярских сотрудников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась два часа. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились: «Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом, карандаш назывался «Копир-учет». «Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов. . .» «Это были гордые дети маленьких ответственных работников». «Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель».

Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на

нотной бумаге». «Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор кончен». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел или, по скромности, не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге, он понимал, что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычайной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала»...

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, может для них написать без цитат и без штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое посылало Хемингуэя в Испанию).

Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу.

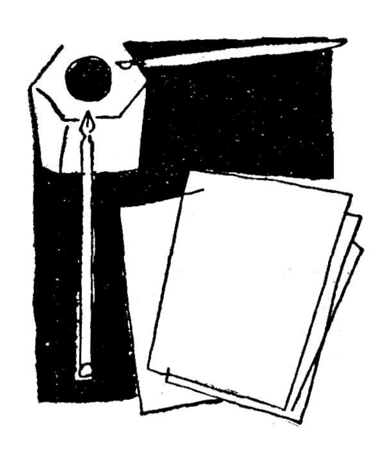
Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. Однажды погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь привезли из-под Малоярославца Евгения Петровича, контуженного воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние, едва дополз по лестнице до десятого этажа и свалился. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А только ему полегчало, как он сразу начал писать про бои за Малоярославец.

Летом 1942 года, в очень скверное время, мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», и немецкая бомба попала в судно, было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом, при авиационной катастрофе в Мексике, погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую

черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушье, грубость, чванство. Хорошие люди — лучше не скажешь. Хорошие писатели, — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей. А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче — хорошие были друзья.



В. АРДОВ •

ЧУДОДЕИ

Еще до войны мне пришлось в редакции «Крокодила» беседовать с начинающим писателем; я рассказал ему об одном литературном приеме, которым пользовался Ильф. Молодой человек почтительно, но с некоторым недоверием, спросил:

— Вы знали Ильфа? . .

Со дня смерти Ильи Арнольдовича Ильфа в то время прошло не более трех лет, но он уже стал легендарной личностью.

Он умер в 1937 году. Евгений Петрович Петров погиб в 1942. А чудесный и всеми любимый советский писатель, носивший двойное имя — Ильф и Петров, уже сделался достоянием истории литературы.

Ни война, ни время, прошедшее после их ухода из жизни, не охладили симпатий народа к Ильфу и Петрову.

Судьба подарила меня близким знакомством с ними. И мне очень хотелось бы, чтобы строки, которые я пишу теперь, хоть немного помогли читателю постигнуть облик безвременно погибших писателей.

Летом 1923 года В. П. Катаев, с которым я был знаком с год,— очень, впрочем, отдаленно,— сказал мне однажды при уличной встрече:

— Познакомьтесь, это мой брат. . .

Рядом с Катаевым стоял несколько похожий на него молодой — очень молодой — человек. Евгению Петровичу тогда было двадцать лет. Он казался неуверенным в себе, что было естественно для провинциала, недавно прибывшего в столицу. Раскосые блестяще-черные большие глаза с некоторым недоверием глядели на меня. Петров был юношески худ и, по сравнению со столичным братом, бедно одет.

Очевидно, после этого были и еще встречи с Евгением Петровичем, но память их не сохранила. Я вспоминаю теперь Петрова только секретарем редакции журнала «Красный перец» в 25-м году, где долгое время работал и Валентин Петрович Катаев.

В «Красном перце» Петров уже не производил впечатления растерявшегося провинциала. Наоборот, необыкновенно быстро он стал отличным организатором. И техникой общения с типографией, и редакционной правкой, и вообще всем обиходом журнальной жизни он овладел очень быстро (впоследствии все это пригодилось ему, когда он стал ответственным редактором журнала «Ого-

нек»). Писать фельетоны, давать темы для карикатур Петров начал тоже очень скоро. Подписывал он свои вещи либо «гоголевским» псевдонимом «Иностранец Федоров», либо фамилией, в которую он обратил свое отчество,— «Петров».

Евгений Петрович писал тогда весело, с огромной комической фантазией, которая со временем так расцвела в его знаменитых романах. Помню, раз я случайно присутствовал при том, как Евгений Петрович сочинял очередной фельетон, сидя за своим столом секретаря редакции. Сочинял он его не один, соавтором его был, если мне не изменяет память, писатель А. Козачинский — друг и сослуживец Петрова по Одессе и Тирасполю, автор повести «Зеленый фургон», где выведен в качестве персонажа сам Е. П. Петров (тогда работник уголовного розыска). Но соавтор больше смеялся и кивал головой, а придумывал почти все один Петров. Эта сцена так и стоит у меня перед глазами: молодой, веселый, черноволосый Петров характерным для него движением правой руки, согнутой в локте, с поставленной ребром кистью и далеко отставленным большим пальцем, в ритм фразам ударяет по столу, говорит и смеется, смеется. . . А соавтор его, хохоча еще громче, повторяет:

— Так и пиши! . . Давай так! . . Пиши! . .

И Петров записывает придуманное, на минуту сдвигая черные брови, резко идущие кверху от переносицы.

В 1928 году журнал «Смехач», издававшийся до того времени в Ленинграде, был переведен в Москву. Редактором назначили М. Е. Кольцова. И вот на одном из совещаний обновленной редакции (на квартире журналиста В. А. Регинина, который стал тогда заведующим редак-

цией) среди прочих сотрудников журнала я увидел рядом с Е. П. Петровым на диване неизвестного мне молодого человека с курчавыми волосами, с необыкновенно чистым розовым цветом лица, на котором легко возникал румянец — у слегка выдававшихся скул; в пенсне, сильно уменьшавшем его большие и выпуклые глаза; с крупным ртом и тяжелым, несколько асимметричным подбородком. С Петровым этот молодой человек говорил как-то особенно интимно, и часто они шепотом обменивались между собой замечаниями, словно забыв о присутствии посторонних.

Очень скоро, с бесцеремонностью, принятой на таких редакционных сборищах, я спросил у человека в пенсне:

— А вы кто такой?

Молодой человек мгновенно покраснел с застенчивостью, которая так и осталась у него на всю жизнь, а ответил за него Е. П. Петров:

— Это — Ильф. Разве вы незнакомы?

С начала 29-года стал выходить сатирический журнал «Чудак». В этом журнале возникло нечто вроде неофициальной рабочей коллегии: писатель Борис Левин, погибший в финскую войну, в 40-м году, стал ответственным секретарем журнала и заведующим литературной частью; на мою долю выпал отдел искусств, который носил озорное название — «Деньги обратно!»; Евгений Петров заведовал мелким материалом — анекдотами, темами для рисунков, эпиграммами и прочим таким, без чего сатирический еженедельник существовать не может,— это было очень трудоемкое дело, и Евгений Петрович проявил тут все свое трудолюбие, усидчивость, умение организовывать и обрабатывать рукописи. Ильф вел отдел

литературных рецензий и часто писал острые смешные заметки о всяческих курьезах и ляпсусах.

Вообще говоря, обработка смешных или подлежащих осмеянию фактов, поступающих в редакцию сатирических журналов, полагается работою второго, что ли, сорта и чаще всего ее поручают второстепенным сотрудникам. Но у Ильфа дело было иначе. Он вкладывал в крохотные заметки весь свой талант, острое ощущение действительности, всю изобретательность зрелого мастера. И воистину же отклики на печатные нелепости или происшествия, что выходили из-под пера Ильи Арнольдовича, были на редкость удачны. В комментариях Ильфа вырастало и значение описываемого факта, и самый текст заметки поражал богатством фантазии и глубоким проникновением в суть дела. И разумеется, всегда была на высоте сатирическая сторона заметки.

В «Чудаке» родился псевдоним Ильфа и Петрова — Ф. Толстоевский. Эта подпись стояла под превосходным циклом сатирических новелл из жизни придуманного Ильфом и Петровым анекдотического города Колоколамска. К новеллам был приложен на редкость смешной план города Колоколамска, исполненный художником К. П. Ротовым. Этот план-рисунок изображал улицы и площади нелепого города. Текст к плану и самое изображение вызывали гомерический смех у читателя. То был точный удар по идиотизму провинциальной жизни в конце нэпа.

(Впоследствии, когда несколько вещей из «Чудака» перекочевали в томик рассказов Ильфа и Петрова, в «Литературную газету» поступило письмо некоего сердитого читателя; он обвинял соавторов в краже произведений писателя Толстоевского, известного ему по «Чудаку».)

Были в «Чудаке» еще и сказки некоей советизирован-

ной Шехерезады, написанные тем же Толстоевским, были отличные театральные и кинорецензии Ильфа и Петрова,— под рецензиями они подписывались «Дон Бузилио». . .

Вспоминаются частые заседания в «Чудаке» под председательством Кольцова, где мы очень добросовестно обсуждали весь материал, идущий в очередной номер. Горячился и добродушно смеялся Петров. Ильф был скупее, особенно на одобрение так называемого «приемлемого», т. е. средненького, материала. А если, увлекаемые смешливым настроением, мы принимались острить уже для себя, а не для «пользы дела», Илья Арнольдович хмурился и говорил сердито (вот так и слышу эту его фразу):

— Кончится когда-нибудь этот «пир остроумия»? . .

И мы умолкали, понимая, что Ильф прав: не затем мы здесь собрались, чтобы веселить друг друга.

Совместная работа в «Чудаке» очень сблизила меня с обоими друзьями. Часто я заходил к Е. П. Петрову в его комнатки в Кропоткинском переулке (эта квартира довольно точно описана в «Золотом теленке» под названием «Вороньей слободки»). Такое название Евгений Петрович сперва дал своему реальному жилищу, а потом уже перенес его в роман вместе с похожим описанием обстановки и обитателей этой квартиры. Была в действительной «Вороньей слободке» в Кропоткинском и «ничья бабушка», и «трудящийся Востока — бывший грузинский князь», и многие другие персонажи, описанные в «Теленке».

Навещал я и комнату в Соймоновском проезде, на шестом этаже, где жил Ильф.

Неоднократно я заставал соавторов во время совместной работы. Сперва это был «Золотой теленок», потом — фельетоны для «Правды», сценарии и другие работы.

Могу засвидетельствовать — наши друзья писали всегда вдвоем и самым трудоемким способом. Технически процесс писания осуществлял Петров. Обычно он сидел за столом и красивым, ровным почерком исписывал лист за листом. Ильф в это время либо сидел в глубоком мягком кресле, либо ходил по комнате, покручивая двумя пальцами жесткий свой хохолок надо лбом. . .

Каждый из соавторов имел неограниченное право вето: ни одно слово, ни одна фраза (не говоря уже о сюжетном ходе или об именах и характерах персонажей) не могли быть написаны, пока оба не согласятся с этим куском текста, с этой фразой, с этим словом. Часто такие разногласия вызывали яростные ссоры и крики (особенно со стороны пылкого Евгения Петровича), но зато уж то, что было написано, получалось словно литая деталь металлического узора — до такой степени все было отделано и закончено.

Щепетильная добросовестность Ильфа и Петрова сказывалась и на отборе материала, который включали они в свои книги. Однажды Евгений Петрович сказал мне полушутя:

— В наши два романа мы вогнали столько наблюдений, мыслей и выдумки, что хватило бы еще на десять книг. Такие уж мы неэкономные. . .

Войдешь, бывало, в комнату, где они пишут,— Ильф первым повернет голову в твою сторону, затем положит вставочку Петров, улыбаясь своей удивительной ласковой улыбкой.

— Женя, прочитайте последний кусок этому смешливому человеку,— скажет Ильф (они до самой смерти Ильфа были на «вы»).

А Петров и сам уже рад проверить свежесочиненные строки на дружелюбном слушателе. И вот он читает, а Ильф беззвучно шепчет, несколько забегая вперед, слова отрывка. (Такое знание собственного текста — вещь очень редкая у прозаиков; оно свидетельствует о том, что пишется сочинение медленно и с любовью.)

В подобном авторском исполнении слышал я многие «свежие» еще куски «Золотого теленка» задолго до его окончания.

Попадались среди них варианты, не вошедшие в окончательный текст романа. Помню, например, иное начало книги. В нем описывалась огромная лужа на вокзальной площади в городе Арбатове, куда прибывает Остап Бендер. Через эту лужу приезжих переносит профессиональный рикша при луже. Бендер садится к нему на спину и сходит на землю со словами:

— За неимением передней площадки, схожу с задней! . .

Потом было написано другое начало о пешеходах. Сочинили его Ильф и Петров потому, что сочли банальным писать о лужах в провинциальном городишке. Но могу засвидетельствовать, что первый вариант вступления был очень смешной и отлично написан.

Артист И. В. Ильинский, после того как ему довелось поработать с Ильфом и Петровым над сценарием «Однажды летом», очень забавно и похоже изображал наших друзей в минуты совместного творчества. Ильинский, точно воспроизводя жест Петрова, стучащего ладонью по столу, запальчиво повторял с южнорусским акцентом Евгения Петровича (мягкое «ж»):

— По-моему — ужье можьно писать. . .

И тут же, перевоплощаясь в Ильфа, теребил волосы надо лбом, повторяя с капризной интонацией:

— Это же неправда! Так не бывает! . .

И снова от имени Петрова:

— А я говорю — можьно! Ужье можьно! . .

Вероятно, первая творческая встреча Ильфа и Петрова произошла не случайно. Правда, было это в молодости, когда люди легко вступают в дружбу. Но должны же были существовать какие-то нити взаимной симпатии и единомыслия, чтобы люди, познакомившись на работе, в редакции, сели писать не фельетон на трех страничках, а роман в сорок печатных листов [1]. С годами это содружество обратилось в беспримерную близость. Шутя, Ильф и Петров сравнивали себя с Гонкурами. А я утверждаю, что такое сопоставление можно сделать со всей серьезностью. У обоих к середине 30-х годов развился метод мышления, который можно назвать «мышлением близнецов» — ведь они проводили вместе по десять—двенадцать часов. Петров говорил мне:

— Утром я стараюсь как можно скорее увидеть Илю, чтобы пересказать ему то, что пришло мне в голову вечером и ночью.

Несомненно, Ильф испытывал то же чувство. И соавторы ежедневно соединялись для бесконечной беседы не только о своих литературных замыслах и делах, но и решительно обо всем на свете. Кстати, как у всех настоящих писателей, творческие замыслы Ильфа и Петрова

---

[1] Ильф мне говорил, что сперва предполагалось участие в «Двенадцати стульях» еще и фельетониста М. Л. Штиха, который тогда тоже работал в «Гудке».

были прямым следствием их истинного отношения к текущим событиям.

Перед глазами у меня и сейчас стоят две фигуры: Ильф сидит где-нибудь на редакционном совещании или в театре, откинувшись на спинку стула и подняв голову, а общительный Петров шепчет ему на ухо что-то пришедшее ему в голову сию минуту. Ильф слушает серьезно, даже критически, закатив глаза к потолку, но постепенно на лице его возникает улыбка.

Очень часто Ильф с Петровым ходили гулять, чтобы думать и разговаривать, медленно отмеривая шаги. Сперва любителем таких прогулок был только Ильф, но потом он приучил к этому «творческому моциону» и своего друга. Много раз я видел их идущими по Гоголевскому бульвару, будто бездельничающими, а на деле — занятыми самой серьезной работой.

Когда Ильф умер, Евгений Петрович часто заходил по утрам к некоторым из своих друзей. Раза два появлялся он и у меня (в то время оба мы жили в доме писателей в Лаврушинском переулке) и говорил с шутливой сварливостью:

— Нѐчего, нѐчего, ленивец! Надо гулять. Гулять надо! Гулять! Пачиму вы не гуляете? Пачиму?!

Это было его любимое слово — «пачиму», и произносил его Евгений Петрович с неожиданным восточным акцентом.

Мы отправлялись по Лаврушинскому переулку и Каменному мосту на Кремлевскую набережную.

Москва-река, тогда уже принявшая в себя волжские воды и потому всегда полноводная, по-весеннему сверкала совсем близко к серому каменному парапету новой

набережной. С елей на бульварчике, тянущемся вдоль Кремлевской стены, еще не сняли проволочных оттяжек, укрепленных при посадке, но видно было, что елочки хорошо принялись. По новому гудрону набережной неслись машины. Беленький катерок тарахтел на реке, вынырнув из-под Каменного моста. По только что отстроенным, новым высоким мостам — Большому Каменному и Москворецкому — двигались трамваи и автобусы, в обе стороны сновали машины и шли бесчисленные пешеходы.

Петров непременно останавливался несколько раз, с одобрением рассматривал пейзаж столицы и повторял, указывая концом бамбукового костылика, вывезенного им из Европы, на детали пейзажа:

— Нет, Москва принимает настоящий столичный вид. Вот такой пейзаж, знаете, не в каждом европейском городе найдешь. А уж американцы дорого дали бы, чтобы иметь, скажем, в Вашингтоне этакий небольшой Кремль... А? Что вы скажете?..

Чаще всего я молчал или отвечал односложно. Мне казалось, что Евгения Петровича не очень занимали мои мысли и рассуждения. Он говорил и рассуждал по преимуществу сам. А я и не старался овладеть беседою. Я понимал, что могу заменить ему Ильфа только как пешеход, и охотно предоставлял в распоряжение моего осиротевшего друга свои ноги и свои уши для его мыслей вслух...

В апреле 1938 года, в первую годовщину смерти Ильфа, в клубе Московского университета, на вечере, посвященном памяти покойного, я прочел свои воспоминания, полный текст которых с небольшими дополнениями, сделанными в 45-м году, я воспроизвожу здесь, потому

что хотя сочинялось это под свежим еще впечатлением от живого общения с Ильфом, но и сегодня я думаю так же, как говорил тогда:

«Я полагаю, что наша обязанность — обязанность людей, которые шли рядом с Ильфом, составляли среду его знакомых и друзей, заключается не только в том, чтобы говорить об Ильфе как о писателе. Ильфа-писателя все здесь присутствующие знают, вероятно, достаточно хорошо, как знают его не только в нашей стране, а во многих других странах, куда проникли книги Ильфа и Петрова, переведенные на пятнадцать языков[1].

Я думаю, вы вправе спросить у нас: каким был Ильф в жизни? — потому что этот вопрос можно сформулировать еще и так: каким надо быть, чтобы писать такие хорошие книги, как писал Ильф?

Я возьму на себя смелость попытаться рассказать о некоторых черточках в характере нашего покойного друга. Это даже не зарисовка, это именно несколько черточек к тому будущему портрету, который должен быть написан в ближайшие годы.

Первое впечатление от Ильфа было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что силы человеческого разума сказываются не только в правильных реакциях, правильных суждениях, которыми он откликается на те или другие явления. Важно еще в таких случаях ощущение, что вот он — человек, который оценивает эти явления, он понимает еще и то, что мы бы назвали пропорцией явлений. То есть этому человеку ясно, каково место данного явления в ряду других событий и фактов. Грубо

---

[1] С той поры, когда это говорилось, число переводов возросло до тридцати пяти.

говоря, мы знаем людей, которые толкуют о каком-нибудь прыще столько же времени и с таким же пафосом, как о солнечной системе. В обоих случаях эти люди излагают бесспорные истины, но совершенно ясно, что ощущение пропорции явлений тут утрачено начисто. Бывают люди, которые не делают таких резких ошибок в масштабах, однако не всегда соотносят свой пыл и глубину анализа с объектом этого анализа. У Ильи Арнольдовича этот умственный глазомер был безошибочен. О чем бы он ни говорил, слушателям доставляла радость прежде всего восхитительная пропорциональность его суждений — да простится мне этот импровизированный термин. Ум Ильфа можно уподобить прожектору, который освещает точно и далеко все объекты, какие попадают в струю его света. Один наш общий друг сказал, что Ильф — «очень взрослый, совсем взрослый человек». В этом странном определении много правды. Конечно, все мы не дети, но редко кто в такой мере умеет руководствоваться не капризами, желаниями, предвзятыми антипатиями и симпатиями, редко кто умеет постигать сразу все и на всю глубину, как умел это Ильф. . .

А ведь это важно, так как уметь точно определять значение и масштабы жизненных явлений необходимо и в общественной жизни и в личной. Если по недомыслию выдавать пустяки за самое важное и наоборот, можно прийти к тому, что будешь обманывать не только себя, но и читателей, — иными словами, не «разумное, доброе, вечное» примешься сеять, а нечто. . . противоположное. И тут хочется привести изречение М. Е. Кольцова, с которым Ильф был связан в своей деятельности журналиста. Кольцов неоднократно повторял письменно и устно: «Не считайте читателя дураком; он ничуть не глупее вас; и не рассказывайте ему о пустяках, выдавая их за зна-

чительные явления». Так именно и поступал Ильф и в своих произведениях и в жизни.

Но сказанное отнюдь не означает, что Ильф был этаким сухим оценщиком фактов и фактиков. У него была великолепная творческая фантазия, иногда даже инфантильная по своей неожиданности, наивности, веселости. Юмористу иначе нельзя. Один опытный сатирик сказал, что для комических жанров литературы и искусства нужны умные глупости. Ильф придумывал их легко и щедро. Его произведения наполнены веселыми нелепостями, из которых можно сделать верные и глубокие выводы. . .

Если меня спросят, что делал Ильф всю свою жизнь, я не задумываясь отвечу: читал. Он читал едва ли не все то время, какое проводил в бодрствующем состоянии. Он проглатывал книги по самым различным вопросам — политические, экономические, исторические, и, разумеется, беллетристические. Он читал ежедневно десять — пятнадцать газет. Ему было интересно решительно все, что происходило и происходит на земном шаре.

Помню, однажды Ильф поделился со мною впечатлениями от только что прочитанной им книги: это был телеграфный код царской армии. Ильф показал мне толстый том, который, вероятно, любому другому показался бы самой скучной книгой на свете. А вот он проштудировал ее всю, и, когда говорил об этом коде, начинало казаться, будто эта книга действительно очень интересна, потому что мысли, которые она вызвала у Ильфа, были действительно очень интересны и разнообразны.

Однажды Ильф раздобыл издание, где воспроизводились все документы, сопутствовавшие смерти Льва Толстого. Эта книга тоже его очень заинтересовала. Кстати, текст одной из пугающе бессмысленных телеграмм, кото-

рую в «Золотом теленке» Остап Бендер посылает Корейко, взят из этой книги: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду» — фраза из телеграфной корреспонденции столичного журналиста, присутствовавшего на станции Астапово в ноябре 1910 года.

Но я очень боюсь, как бы эти строки не вызвали у кого-нибудь представления, будто Ильф был этакой ходячей палатой мер и весов, будто он бесстрастно оценивал все, что попадалось на его пути. Меньше всего Ильф был похож на людей, которые, решив, что они являются обладателями мощного мозгового аппарата, легко, как орехи, раскалывают любой вопрос, предложенный им. У Ильфа была огромная любознательность гражданина и писателя. Как писатель Ильф последовательно и мужественно определил свое отношение к нашей действительности и к миру вообще. У нас существует много литераторов, которые пытаются увильнуть от коренных проблем нашего времени, полагая, что рассказики и повестушки можно писать и без этого. Ильф не мог не осмысливать основных категорий действительности. Поэтому все то, что он говорил о самых разнообразных вещах, всегда можно воссоединить в некую цельную систему. И его высказывания всегда выражали его, Ильфа, миропонимание, и миропонимание это известно всем читателям его книг, потому что у Ильфа не было двух миропониманий: одного — для себя, а другого — для читателей и цензуры. Книги Ильфа, помимо всего прочего, еще и книги очень честного писателя.

Моя попытка анализировать живого Ильфа страдает тем недостатком, что я, естественно, принужден представлять вам элементы, из которых складывался его огромный и своеобразный интеллект, перечисляя их по одному. Из-за этого я все время должен вносить по-

правки и оговариваться, что дело обстоит сложнее, чем это может показаться. Вот и сейчас я еще не успел отметить такое неотъемлемое свойство Ильфа, как его огромный юмор. Между тем юмор Ильфа вносит очень существенную поправку к тому, что сказано о нем до сих пор. Юмор никогда не оставлял Ильфа. Излишне оценивать здесь эту сторону интеллекта покойного писателя. Кто же из присутствующих не знает Ильфа с такой стороны? Нужно только сказать, что у Ильфа был юмор, который мы, литераторы, называем органическим.

Речь идет вот о чем. Если заниматься юмористикой профессионально, то очень скоро устанавливаешь, что давно уже существуют готовые рецепты для того, чтобы рассмешить аудиторию. Это, так сказать, изюминки, которые не слишком разборчивый литератор там и сям втыкает в тесто своих произведений. И есть другой путь — путь творческий, когда комическое возникает из самой сути материала, из авторских суждений об описываемых явлениях или порождается фантазией автора в меру его творческой силы и опять-таки в связи с материалом. Это юмор органический, он не только смешон, он служит оценкой явлений, которых касается. Ильф обладал могучим органическим юмором. Мне всегда казалось, что Ильф придумывает смешное не для книг, а для самого себя, и только часть того, что он создавал, попадала в книги.

Мне очень хочется, чтобы вы поняли, какую прелесть придавал юмор Ильфа всему, что он говорил в обыденной жизни. Увы, читатели его книг лишены возможности услышать интонацию его шуток: интонации существуют только в живой речи. Ведь ирония сказывается не в одних словах, но иногда — в оттенке голоса, в вы-

ражении лица, в мимике, в улыбке, во взгляде... А так называемый «юмор нелепости», из которого очень немногое просочилось в книги Ильфа...

Пищу для этого юмора иногда дают несоответствия, которые юморист находит в жизни. Например, знаменитая фраза «командовать парадом буду я» теперь стала чем-то вроде поговорки, а мы помним, как Ильф выхватил ее из серьезного контекста официальных документов и долгое время веселился, повторяя эту фразу. Затем «командовать парадом буду я» было написано в «Золотом теленке». Смеяться стали читатели. А из официальных бумаг пришлось исключить эти четыре слова, ибо они сделались смешными буквально для всех...

Остроумие, которым блистает в обоих романах Остап Бендер,— ведь это же в значительной мере остроумие самих Ильфа и Петрова. Кто не встречал в жизни комбинаторов, повторяющих характер Бендера? Но часто ли мы наблюдаем у этих стяжателей и ловкачей столь развитое чувство юмора?

Ильф был не только рассказчик. Он умел и любил слушать. Но боже вас упаси пересказывать ему пошлое «общее мнение», старый анекдот, заступаться за посредственность! В споре Ильф был непобедим. Тремя репликами, сделанными с ходу так, словно они сочинялись для собрания афоризмов, Ильф убивал оппонента.

У себя дома, в комнате, убранной с удивительным вкусом, Ильф был немного другой. Окружающие его редкие безделушки — пузатый фарфоровый Будда, фаянсовые львы с геральдическими щитами, кустарные красные лошадки, даже расположение мебели и посуда — все по-

казывало, что вы в обиталище художника. Да оно так и было: Мария Николаевна Ильф отлично пишет маслом, а сам Илья Арнольдович любит и хорошо разбирается в живописи, скульптуре, графике.

Придешь, бывало, к Ильфу. Илья Арнольдович как-то добрее выглядит на своей широкой тахте, окруженный грудой только что купленных книг, журналов, газет. Он очень учтиво и ласково приветствует вас. Если у вас есть деловые вопросы или вы хотите посоветоваться о чем-нибудь с ним, можете быть уверены, что немедленно получите ответы, которые представят вам все дело с новой для вас стороны. Ответы могут оказаться неожиданными, но они всегда очень умны и деловиты.

Если нет дела, завязывается разговор — блистательный ильфовский разговор. Илья Арнольдович оживляется, поблескивают стекла его пенсне, раздается его смех, немного неожиданный, резкий. Часто он разговаривает, рисуя какие-то лица, верблюдов с двадцатью горбами (о которых упоминает в своих воспоминаниях Е. П. Петров), пароходики...

Вам надо уходить, но невозможно оторваться от того, что рассказывает этот человек, невозможно покинуть уютную комнату...

Не без иронии Ильф признавал себя лентяем. По существу, это значило, что ему гораздо интереснее было знакомиться с миром, с людьми и с их делами, чем писать обо всем этом, и особенно — писать торопливо. Не надо к тому же забывать: Ильф очень много лет был болен и постоянно жаловался на недомогание. Врачи не сразу распознали тяжелый его недуг...

Но вот в 30-м, кажется, году Ильфа заинтересовал фотоаппарат «лейка» — тогда они были внове. Фотографирование было для Ильфа еще одним способом поглубже

залезать в делишки этой планеты. Ильф стал страстным фотографом-любителем. Он снимал с утра до ночи: родных, друзей, знакомых, товарищей по издательству, просто прохожих, забавные сценки, неожиданные повороты и оригинальные ракурсы обычных предметов. Он и фотографировал по-ильфовски.

Евгений Петрович жаловался с комической грустью:

— Было у меня на книжке восемьсот рублей, и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора... Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает...

Но кончилась эта история с фотографированием счастливо. К 35-му году, когда друзья поехали в Америку, Ильф снимал уже настолько хорошо, что его снимки, сделанные в Соединенных Штатах, с «расширенными», как говорят в редакциях, подписями, составили целую повесть в журнале «Огонек»: это был первый вариант знаменитой ныне книги об «Одноэтажной Америке».

Евгений Петрович любил и знал литературу как читатель и как писатель. А писательское знакомство с литературой — это особый вид отношения к книгам: он основан на том, что человек понимает, запоминает и даже «чувствует» — прошу прощения за иррациональный термин,— как построено любое произведение. Речь идет не о критическом разборе прочитанного. Ближе всего такое литераторское постижение литературы к тому, как печник или столяр постигают, ка́к именно устроено внутри создание его товарища по ремеслу.

Петров мгновенно угадывал замысел любого произве-

дения, его схему, ритмический рисунок вещи, ее сюжетные ходы. Подобное чувство сюжета не часто встречается даже среди литераторов.

Когда Евгений Петрович принимался фантазировать вслух, сочиняя что-нибудь, мне это доставляло чистое наслаждение: до того легко, ясно, весело и до колик смешно он выдумывал вот тут же, у вас на глазах... Какая у него было хватка! Какое чувство жанра! То, что Петров предлагал для комедии, пахло рампой; фельетонный его замысел уже в момент рождения был задорен и публицистически ясен; поворот фабулы в рассказе — оригинален. Как умел он на лету подхватить зародыш чужой мысли, иногда невнятно-робко предложенный участником темного совещания[1] или при обсуждении сюжета будущих его пьесы, сценария или повести, мгновенно выявить все положительные и отрицательные возможности этого замысла, как-то сразу недоговоренная мысль бывала вскрыта до самой ее сердцевины.

Вам казалось, что решение найдено, а Петров все еще фантазирует — с невероятной расточительностью, какую может себе позволить только настоящий талант. Он отбрасывает все, что уже придумал, и сочиняет еще и еще, ищет самое трудное из решений — когда все придумано точно в границах жанра, но самое решение свежо, неожиданно и самостоятельно.

Я вижу перед собою Евгения Петровича, в цветной сорочке, с галстуком (пиджак аккуратно повешен на стул). Зажмурив глаза и склонив голову набок, он заразительным веселым смехом предваряет свою реплику о

---

[1] «Темными совещаниями» называются в сатирических изданиях коллективные обсуждения тем и сюжетов, главным образом для карикатур, но и для литературных материалов.

том, что только что пришло ему в голову, и громко возглашает:

— Товарищи, это надо так...

И после паузы, означающей двоеточие, еще несвязно, но абсолютно точно по мысли, увлекательно и забавно, опять-таки вперемежку со смехом, извлекает то, что пришло ему в голову... А Ильф (очевидно, нельзя все-таки писать о них раздельно), Ильф, скроив строгое лицо, если придуманное недостаточно свежо или не отвечает его изощренному вкусу, через минуту, сперва против воли, смеется вместе с Петровым. Потом он включается в поток выдумок своего друга и вот уже перебивает Петрова:

— Погодите, Женя, тут надо сделать вот что...

Петров приумолк, послушал Ильфа и, мгновенно поняв мысль товарища, опять заглушает его своим сангвиническим баритоном:

— Верно! А потом еще так!..

Чудесные часы вдохновения! Как они радовали даже случайных свидетелей!

Да, Евгений Петрович с первого взгляда воспринимался как человек с несомненным ярким талантом.

Если в Ильфе при близком знакомстве поражал мощный аналитический ум, то в Петрове вы прежде всего ощущали гармоничную, одаренную личность. Человеческое его обаяние было решительно незаурядным. Он вызывал улыбку симпатии при первом же взгляде на его доброе, ласковое лицо. Тонкий нос с горбинкой. Маленький красивый рот. Острый подбородок. Азиатские, раскосые темные глаза и прямые темные волосы, которые образовывали на середине лба аккуратный треугольничек.

Все в Евгении Петровиче казалось милым,— даже манера предупредительно обращать в сторону говорящего правое ухо (на левое ухо он плохо слышал), даже манера чуть наклонять вперед корпус и, шагая, как-то по своему выбрасывать ноги немного в стороны. А вежлив и любезен Петров был, что называется, всем своим существом. Это — от любви к людям, от желания делать добро.

Но чуть случалось ему услышать о чьем-нибудь неблаговидном поступке, о бездушном отношении к людям, о чьей-нибудь нечестности,— он сразу же покраснеет, разгорячится, и тут уж его не остановить, пока не выскажет всего, что думает.

И бесполезно в эти минуты приводить ему резоны в оправдание. Петров еще круче наклонит голову, наотмашь разрубит воздух выпрямленной кистью правой руки с торчащим кверху большим пальцем и упрямо примется повторять:

— Н-н-нет! Н-н-н-нет! .. Пусть он будет бедный, но честный!

Это была обобщенная ироническая формула Петрова, в которой он требовал от людей честности, человеколюбия, демократичности. Петров глубоко понимал и чувствовал основы нашего строя именно с этой их стороны, всем своим складом показывая примеры того, каким должен быть советский человек. И совершенно закономерным для него было то, что в 39-м году он вступил в партию.

Но вернемся к совместной биографии Ильфа и Петрова. Интересно было наблюдать, как с 30-го, примерно, года прибывала к ним слава. А она именно прибывала, словно вода в половодье.

«Двенадцать стульев» были приняты читателями отлично, но, как водится, имена авторов не сразу запали в память публике. Второй роман укрепил и поднял интерес к писателям. И уже критика спешила наверстать прозеванное ею: хвалили, объясняли, почему это хорошо, почему именно так надо было писать. . . Репортеры охотно сообщали о планах, намерениях и выступлениях Ильфа и Петрова. В печати стали часто вспоминать и цитировать «Двенадцать стульев», «Золотого теленка», острые фельетоны наших друзей. Цитировали не только печатно, но повторяли изустно и в быту люди всякого звания.

— А помните, у Ильфа и Петрова в «Робинзоне». . .

— Это еще в «Двенадцати стульях» есть. . .

— Он у нас, знаете, чистый Остап Бендер.

Вдруг выяснилось, что у каждого есть знакомый, удивительно похожий на Остапа Бендера.

Впрочем, с выходом в свет «Золотого теленка» дело было не совсем гладко. Но за «Теленка» заступился Горький. Илья Арнольдович рассказывал мне, как однажды Алексей Максимович спросил у него и Петрова, что слышно с их новой книгой. А узнав о затруднениях, обратился к тогдашнему наркому просвещения РСФСР А. С. Бубнову и выразил свое несогласие с гонителями романа. Бубнов, кажется, очень рассердился, но ослушаться не посмел, роман сразу был принят к изданию.

С некоторых пор Ильфа и Петрова стали узнавать на улицах. К ним обращались люди в беде и просто «просители». Романы их переводились на иностранные языки. Но сами друзья оставались прежними: так же возмущался Петров, узнав о дурном поступке, так же клеймил Ильф пошляков и казнокрадов своими неповторимыми по едкому остроумию замечаниями. Разве только немного

менее застенчивым стал он, пообтершись на бесчисленных конференциях, совещаниях и приемах. Да еще, пожалуй, Петров начал быстрее отличать среди посетителей людей воистину обиженных от склочников и ловкачей.

В 1935 году осенью друзья уехали в Америку. Как известно, тяжелое путешествие в автомобиле через весь Североамериканский материк вызвало у Ильфа обострение тлевшей в нем болезни. . .

Увы, недуг Ильфа не утих и на родине, хотя лечился Илья Арнольдович исправно.

Над своей болезнью он старался шутить. Две грустные фразы в «Записных книжках» — вот, пожалуй, и все, что сказал Ильф о своем несчастье. За несколько дней до смерти, сидя в ресторане, он взял в руки бокал и грустно сострил:

— Шампанское марки «Ich sterbe» [1]. . .

Как известно, «Ich sterbe» были последние слова А. П. Чехова, тоже скончавшегося от туберкулеза.

Ильф отлично понимал, что он болен тяжко. Близкие тоже придавали серьезное значение его недугу, но никто не ждал такой быстрой развязки.

В последний раз я виделся с Ильфом на общем собрании московских писателей в большой аудитории Политехнического музея. Запомнилась мне одна из многих его острот, сказанных в тот день. В газетах тогда шла кампания борьбы с подхалимством, и Ильф заметил:

— Подхалимов сейчас отлучают от зада, как младенцев от груди.

---

[1] «Я умираю» (немецк.).

Евгений Петрович получил тогда слово в прениях, а Ильф сидел рядом со мной в одном из последних рядов, высоко и далеко от трибуны. Он очень покраснел и закрыл глаза. У него всегда бывало так, когда Петров читал их общие сочинения. Мы даже шутили: Петров читает рукопись, а Ильф пьет воду в президиуме и громко перхает, будто это у него, а не у Петрова, пересыхает в горле от чтения.

Седьмого апреля мне сказали, что Ильф слег. Восьмого я пришел навестить его, но меня уже не пустили к больному. А тринадцатого поздно вечером в Клубе мастеров искусств ко мне подошел артист В. Я. Хенкин и тревожно спросил:

— Говорят, умер Ильф... Ты знаешь об этом?

Телефона у Ильфа на новой его квартире в Лаврушинском переулке еще не было. Я позвонил в редакцию «Правды». Не помню, кто из сотрудников литературного отдела грустно ответил:

— К сожалению, это так...

Я поехал в Лаврушинский. Было два часа ночи. В квартире Ильфа собрались друзья. Все толпились в первой комнате. Один только художник К. П. Ротов — они с Ильфом очень любили друг друга — стоял в коридоре и с тоскою глядел в третью комнату, дверь в которую была открыта. Я подошел к Ротову, он сжал мне локоть и кивком подбородка показал на Ильфа, лежавшего на диване у двери.

В ту ночь мы все поднялись к Евгению Петровичу и там провели время до утра... В столовой у Петрова лежали вдоль стены еще не развязанные пачки только что вышедшей «Одноэтажной Америки».

Восьмилетний сын Евгения Петровича проснулся и вошел в столовую. Мальчик ничуть не удивился, увидев

14*

гостей в неурочное время, и Евгений Петрович грустно сказал:

— Хорошая штука детство... Петя и не спрашивает даже, почему мы здесь собрались. Для него мир — надежное помещение.

Во время прощания огромного количества москвичей с телом Ильфа и на похоронах Евгений Петрович принимал участие во всех церемониях и деловых заботах, часами сидел в Клубе писателей, где два дня и две ночи лежал прах его друга. Только необычайная для Петрова рассеянность да ушедший в себя печальный взгляд говорили нам о том, как глубоко его горе.

Тело Ильфа было выставлено для прощания в большом зале Клуба писателей. Друзья все время сменялись у гроба. Очень многие литераторы, художники, композиторы, артисты, киноработники, журналисты пришли отдать последний долг замечательному писателю. Но самое дорогое было в том, что толпы простых людей с улицы, читателей, непрерывно проходили мимо усопшего. Огромная толпа народа стояла на улице Воровского при выносе тела.

А. А. Фадеев произнес прощальную речь. Процессия тронулась по направлению к крематорию.

Вечером несколько человек, не сговариваясь, собрались у Петрова.

Среди присутствующих я помню А. А. Фадеева, Ю. К. Олешу, В. П. Катаева, Л. И. Славина.

Евгений Петрович внешне казался очень спокойным. Но видно было, что он подавлен тоской. Как это всегда бывает, горечь утраты час от часу росла в нем... И надо знать доброту Евгения Петровича, чтобы пости-

гнуть, как должна была поразить его смерть друга. Обычное в таких случаях ощущение какой-то мнимой своей вины — не сумел отвратить, не спас, проглядел, сам жив, а его нет! — вот что буквально пожирало его.

Первое время после смерти Ильфа Петров не писал ничего. Потом начал работать, но не в тех областях, в которых они трудились вдвоем. Он написал пьесу-памфлет «Остров мира», начал «серьезный» роман, писал критические статьи, очерки. Съездил на Дальний Восток и на Камчатку, стал печатать в «Правде» очерки об этой своей поездке.

В этот же период, после смерти Ильфа, были написаны Петровым в соавторстве с Г. Н. Мунблитом и самостоятельно несколько киносценариев. Как водится в нашем киноделе, далеко не все сценарии были поставлены. Но те, что увидели «свет кинобудки», обнаружили в Петрове вполне квалифицированного комедиографа. *«Музыкальная история»* и *«Антон Иванович сердится»* не нуждаются в рекомендациях. Перу Петрова и Мунблита принадлежит также сценарий «Беспокойный человек». Были у них еще замыслы и даже написанные уже вещи. Эту сторону деятельности Петрова (как и все прочее) оборвала война.

Может возникнуть вопрос: почему именно Георгий Николаевич Мунблит стал соавтором Петрова? На мой взгляд, тут есть известная закономерность. Мунблит давно дружил с Ильфом и Петровым. В то время, когда толстые журналы (и не менее толстые критики) с опаскою уклонялись от оценки или — не дай бог! — публикации произведений наших сатириков, Георгий Николаевич печатно и устно выражал свое признание своеобразного

творческого лица этих писателей. Потому-то Петрову и был облегчен путь к соавторству со старым и верным другом.

На мой взгляд, Евгений Петрович в значительной степени нашел себя, став ответственным редактором журнала «Огонек». Этот наиболее распространенный в стране еженедельник в то время хирел потому, что, как говорил сам Петров, его прежнее руководство «носило кризис литературных взглядов с собой, в жилетном кармане». Журнал в то время был вялый, скучный. Отставал от событий. Когда «Огонек» был доверен Евгению Петровичу, положение резко изменилось. Оказалось, что в Москве вполне достаточно писателей, журналистов, художников, фотографов, чтобы завалить хорошим материалом не один еженедельник. Надо было только уметь привлекать этих людей и не смотреть на всякую рукопись как на коварный подвох редактору. . .

Петров перекроил по-своему весь вид «Огонька». Завел новые, интересные отделы, красивые шрифты, остроумные заголовки, оригинальную верстку. «Огонек» стал пользоваться успехом, за ним гонялись, старались не пропустить очередной номер.

Деятельность Евгения Петровича в качестве редактора «Огонька» была подлинным творчеством. Он вкладывал в журнал всю свою выдумку, эрудицию, опыт и вкус зрелого, талантливого писателя.

Мне случалось навещать редакцию «Огонька», когда там редакторствовал Евгений Петрович. Обстановка в редакции была на редкость приятная. Здесь царила атмосфера интеллигентности, которая создается не только высоким образовательным цензом работников. По тому, как

говорили сотрудники «Огонька» с Петровым, видно было, что они отлично понимают, насколько поднял их журнал новый редактор. Они уважали его, изо всех сил старались выполнить его указания, считая, что новшества, введенные им, будут на пользу делу: они гордились своим руководителем. Все это можно было почувствовать в первые же полчаса пребывания в редакции.

Заметно было и то, что Евгений Петрович с доверием и уважением относился к своим сотрудникам. Здесь свойственная ему доброта, кипучая энергия, трудолюбие и аккуратность в работе были очень к месту.

Но война дала другое направление жизни Евгения Петровича. С конца июня 41-го года он начал работать в Совинформбюро. Писал и для советской и для зарубежной печати. Американские читатели узнавали о том, что происходит в Советском Союзе в первые месяцы войны, именно из очерков Петрова, печатавшихся в заокеанских газетах.

По всему видно было, что он отходил от тяжелого душевного удара, нанесенного ему смертью Ильфа.

Петров часто и подолгу бывал на фронтах, но судьба сперва берегла его.

Увиделись мы с ним в Куйбышеве, куда ненадолго эвакуировались некоторые правительственные учреждения, в том числе и Совинформбюро.

В тесном зале куйбышевского ресторана «Гранд-Отель» я встретил Евгения Петровича. Передал ему привет от его жены и детей, с которыми незадолго перед тем видался в Чистополе и Казани. Евгений Петрович был очень нервным и возбужденным, но панических настроений, которые — теперь можно сказать об этом —

охватили некоторых ретивых любителей мажорного искусства и военно-наступательной беллетристики, в нем не было и в помине. Он носил знаки различия старшего батальонного комиссара. И в военной форме был все такой же — подтянутый, щеголеватый, аккуратный.

28 октября я уехал из Куйбышева. На прощание мы с Женей поцеловались. Мог ли я думать, что больше мне не суждено будет встретиться с ним?..

В мае 42-го года я был призван в армию для работы во фронтовой печати и в начале июля был в командировке от газеты Северо-Кавказского фронта в частях 51-й армии, расположенной под Ростовом. 3 июля, войдя в редакцию армейской газеты (в станице Мечетинской), я услышал середину фразы, звучащей из радиоприемника:

«...вдове Валентине Леонтьевне Катаевой-Петровой...»

Задохнувшись, я кинулся к приемнику. Сомнений не было — Евгений Петрович погиб.

...Ночью, ворочаясь на узкой койке в мечетинском Доме колхозника, я долго не мог заснуть.

С глубокой болью я почувствовал в эти часы, до какой степени был мне нужен мой покойный друг! Пусть бы он ходил по земле где-то далеко от меня. Пусть бы мы общались с ним редко и мало. Мне хватило бы и этого. А теперь я чувствовал, что из моей жизни ушло что-то очень дорогое, что-то лично мне принадлежавшее. Оборвалась одна из самых крепких нитей, которыми я привязан был к родному городу, к любимому ремеслу, к среде близких людей.

Читатель простит мне эгоистический характер этих строк. Да, я знаю, смерть Петрова прежде всего — горе

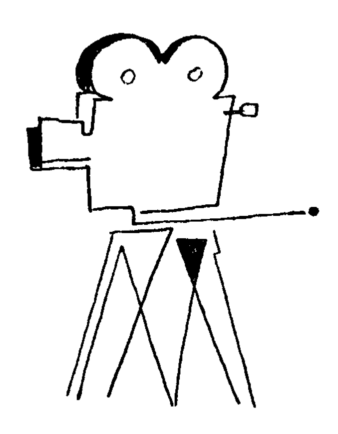
его семьи, его детей, огромная утрата для его читателей, а их миллионы. Но это и мое горе, и я не могу промолчать об этом, когда пишу о покойном друге. . .

И вот были два замечательных человека — и нет их. Что же осталось? Остались книги. Умные и добрые, веселые и талантливые книги. В наше время произведения литературы быстро стареют и даже умирают. Сколько сочинений, возбуждавших еще недавно восторги, споры, всеобщий интерес, сегодня потеряли вякое значение! А вот собрание злободневных фельетонов и романы Ильфа и Петрова радуют нас едва ли не больше, чем в дни своего выхода, ибо, описывая злобу дня, происшествия, случившиеся в тогдашнем «сегодня», наши писатели сумели сыскать в этой злобе дня и талантливо выразить глубокую суть описываемого. И вот тому убедительный пример: эти романы, самые «локальные» по материалу, переведены на все языки мира. Оказывается, и в Европе, и в Азии, и в Америке читатели постигают в них то, что рассказывают Ильф и Петров про далекую и неизвестную им жизнь советских людей.

Для меня и при жизни моих друзей было наслаждением рассматривать в книжном шкафу Евгения Петровича (Ильф не был таким аккуратным коллекционером) нарядные переплеты иностранных изданий «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и «Одноэтажной Америки». Вот стоит английский перевод, выпущенный в Нью-Йорке. Вот английское издание из Лондона. Вот французский текст, на корешке марка «Париж». А вот французский перевод из Брюсселя. Вот венское издание на немецком языке. Вот берлинское. Вот чешское заглавие. Вот польские, норвежские, шведские, испанские, итальянские, ту-

рецкие, японские, китайские, арабские буквы и слова... По всему миру разошлись книги наших друзей. Они «удостоились» сожжения на фашистских кострах в гитлеровской Германии. Их запретил Франко и, говорят, проклял римский папа. Но на всех языках мира они свидетельствуют о том, что у нас на родине жили два талантливых, добрых и веселых человека.

И я счастлив, что знал обоих этих чудодеев, — разве написать хорошую книгу не значит сотворить чудо?



Г. МУНБЛИТ •

ИЛЬЯ ИЛЬФ

Любой человек, которому довелось бы познакомиться с Ильфом и Петровым в начале 30-х годов, испытал бы, глядя на них, чувство зависти. Нынче на писательских собраниях такую зависть именуют «здоровой», но тогда этот термин был еще неизвестен, и, завидуя моим новым знакомым, я испытывал некоторое смущение.

А завидовать им было в чем. Такие они были умные, веселые, дружные, удачливые, такие неистощимые острословы, такие неуязвимые насмешники, так великолепно шла у них работа, так все их любили, так нарасхват шли их книги. . .

И только много лет спустя мы узнали, что именно в это время Ильф записывал в своей записной книжке:

«Дело обстоит плохо, нас не знают... Если читатель не знает писателя, то виноват в этом писатель, а не читатель».

Что это было такое? Сплин? Неверие в свои силы? Болезнь?

Ни то, ни другое, ни третье. Эти строки были продиктованы высокой художнической требовательностью к своей работе. Так размышлять мог писатель, твердо знающий, что книги, которые ему предстоит написать, должны быть и будут гораздо лучше тех, что уже написаны. Так рассуждать мог человек, младенчески лишенный честолюбия, не подозревавший о своем успехе и не для успеха пишущий.

А Ильф действительно был именно таким, начисто лишенным честолюбия человеком.

Помню его на премьере пьесы «Под куполом цирка». Это была очень праздничная, торжественная премьера. Ею открывался впервые организованный в Москве Мюзик-холл, в спектакле участвовали лучшие комедийные актеры, зал был полон, спектакль то и дело прерывался аплодисментами,— словом, было от чего возликовать авторским сердцам. Они, вероятно, и ликовали, хотя у Ильфа, сидевшего в глубине литерной ложи, как мне удалось заметить, на лице было написано только смущение. А когда спектакль кончился и в этой самой ложе, где сидели авторы и приглашенные на премьеру гости, возник шепоток о том, что не худо бы отпраздновать успех где-нибудь в ресторане, Илья Арнольдович разыскал меня в очереди у гардероба и спросил со свойственной ему застенчивой резкостью:

— Слушайте, у вас найдется дома стакан чаю?

И битых два часа рассказывал мне и еще одному приятелю, составившему нам компанию, о морских сражениях

адмирала Нельсона, ни словом не упоминая о только что происходившем триумфе.

Успех был нужен ему, как я понял впоследствии, только для того, чтобы убедиться в том, что их книги читают. Ни любопытные взгляды сотрудников редакций и издательств, ни бесчисленные приглашения на всякого рода встречи с читателями, банкеты и торжественные заседания, ни почет, которым они с Петровым были окружены в театрах, киностудиях и организациях Союза писателей, не вызывали в нем решительно никаких эмоций. Интересная книга, общество добрых друзей и хорошее путешествие — вот все, что ему требовалось от жизни. Хотя, пожалуй, не все. Требовалась еще одна малость — чтобы всем этим располагали кроме него все его сограждане и современники. По его собственному утверждению, быть счастливым в пределах своего собственного организма, в пределах своей семьи или круга друзей он не мог. Было необходимо, чтобы этот крохотный микрокосм благополучия плавал в благополучной среде. Ледяная «вселенная» человеческих бед и горестей исключала возможность «сладкого отдыха на тяжелых снопах».

Он ужасно не любил людей, внешним видом старающихся продемонстрировать свою необыкновенность и «причастность к искусству». Сам он выглядел, разговаривал и держался до чрезвычайности просто, так, что случайному его собеседнику никогда бы и в голову не пришло, что перед ним писатель, да еще писатель, отлично ему известный. Подчеркнуто обыкновенный костюм, обыкновенная манера говорить, очень прозрачные и очень блестящие стекла пенсне, чисто выбритое, розовое лицо

и прищуренные, немного насмешливые глаза — все было в нем таким, каким могло быть у любого инженера, врача или учителя. Пожалуй, он к этому даже стремился, боязнь банальности — почти профессиональное свойство многих писателей — была ему совершенно неведома. Была у него даже такая идея, что существуют в человеческом обиходе банальности, которые следует считать священными, и всякий раз, когда с человеком случается что-нибудь такое, что приводит ему на ум миллионы раз произносившиеся слова, следует эти слова произносить. Однажды, спустя несколько дней после того, как у него родилась дочь, он сказал мне, соблюдая все традиционные интонации счастливых отцов и искоса на меня поглядывая: «Рождение ребенка — это ведь чудо, правда?» Нужно признаться, я не удержался от протестующего замечания. И тогда он страшно на меня накричал. Не помню, какие именно доводы приводил он в защиту чувств и фраз, освященных тысячелетней традицией, но готов свидетельствовать, что ни один из известных мне апологетов оригинальности никогда не мыслил так самостоятельно и не говорил столь красноречиво и веско, как этот человек, защищавший банальное.

Нет, в нем не было ничего псевдоартистического. Слишком обдуманными были его слова, слишком скупо и точно он двигался, слишком спокойной и корректной была его манера держаться, чтобы можно было заподозрить его в художнической одержимости, какую по старой и ложной традиции мы привыкли видеть в поведении и внешнем облике людей, занимающихся искусством.

И вместе с тем Ильф был настоящим художником.

Способность удивляться и любопытствовать была в нем неистощима. Он все вокруг себя замечал, ко всему приглядывался, всем интересовался. И если представить

себе, что когда-нибудь на какой-нибудь час в его поле зрения осталась бы одна какая-нибудь спичечная коробка, он бы и тогда не соскучился и стал бы, покашливая, ее разглядывать и нашел бы в ней бездну интересных вещей, а главное — непременно бы придумал способ ее улучшить.

Его интерес к окружающему миру не был интересом собирателя редкостей. Как всякий настоящий человек — в нашем, советском понимании этого слова — он был инстинктивным преобразователем мира.

У Белинского в «Литературных мечтаниях» есть великолепная мысль о назначении комедии. «Предмет комедии,— пишет он,— не есть исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков общества; нет, комедия должна живописать несообразность жизни с целию. . .»

Смысл этого утверждения в том, что автор комедии не может быть просто насмешником, как бы умно и талантливо он ни писал, но, с другой стороны, ему не следует брать на себя и роль проповедника в прямом и элементарном смысле этого слова. Автор комедии должен видеть цель и смысл человеческого существования и с этой точки зрения оценивать то, что его окружает.

Вспомните книги Ильфа и Петрова, и вы увидите, что они удовлетворяют требованию Белинского.

И в полной мере соответствовало этому требованию отношение Ильфа к окружавшему его миру.

Чувство гражданственности было свойственно этому человеку в необычайных размерах. Все касалось его. Форма садовых скамеек в парке культуры и отдыха, посевы колосовых, способы производства автомобилей, преподавание истории в школе, структура Союза писателей и многое, многое другое заставляло его серьезно и подолгу задумываться.

Суждения его обо всем, что попадалось ему на глаза, были неизменно хозяйскими. Другого слова не подберешь. Только чувствуя себя настоящим хозяином всего, что тебя окружает, можно так деловито, заинтересованно и обдуманно судить обо всем.

Я помню шутливый лозунг, который он любил повторять, глядя на многочисленные городские неустройства Москвы начала 30-х годов: «Не надо бороться за чистоту, надо подметать!» Последнее слово он отчеканивал с интонацией яростной убежденности, которая вообще была ему свойственна.

Бродить с Ильфом по городу было удовольствием, ни с чем не сравнимым. Замечания его об архитектуре домов, об одежде прохожих, о тексте вывесок и объявлений и обо всем другом, что можно увидеть на городской улице, представляли собой такое великолепное сочетание иронии с деловитостью, что время и расстояние в таких прогулках начисто переставали существовать.

В житейски-обывательском смысле он был, пожалуй, злой человек. Только вежливостью умерялась его жестокость в отношениях с глупыми, чванными и бездарными свистунами, которых так много еще вьется вокруг литературы, театра, кино. Но конечно же это была святая жестокость, вызванная пониманием несообразности существования таких человечков с жизнью, которую ведут в нашей стране настоящие люди. И когда на горизонте возникал такой экземпляр «в горностаевых брюках с хвостиками», взгляд у Ильфа становился жестоким не потому, что носитель таких брюк был просто глуп и смешон, а потому, что эти свойства делали его опасным и вредным, и потому, что он, чего доброго, мог помешать работать и жить другим людям. А этого Ильф не склонен был никому прощать.

Он был необыкновенно требовательным читателем. И странно — его, профессионального писателя, интересовало в книгах не то, *как* эти книги сделаны, а жизненный опыт, их наполнявший. И если этот опыт оказывался в какой-нибудь книге незначительным или автор, упаси бог, позволял себе в ней немного приврать, лучше ему было не встречаться с Ильфом.

Ему всегда была ненавистна склонность злоупотреблять доверием читателя, чем, в сущности, и была всякая попытка написать о предмете недостаточно хорошо знакомом. И он был беспощаден, защищая свои читательские права.

Из того, что рассказано здесь об Ильфе, чего доброго, может возникнуть представление о нем как о человеке суховатом и прежде всего ироническом. Если это случится, виноват в этом будет не Ильф.

Потому что ирония и сдержанность зрелого и мужественного человека сочетались в нем с добротой, чуткостью и мечтательностью поистине юношескими. И в его сдержанных отношениях с товарищами по работе, в его требовательности к ним было гораздо больше доброты к людям, чем в показном и неискреннем благодушии, столь распространенном еще в писательской среде. Ведь нет ничего проще, чем, встретившись с автором книги, которая тебе не понравилась, промямлить что-нибудь уклончивое и увернуться от прямого разговора, храня свое спокойствие, не восстанавливая против себя человека, не нарушая равнодушно-дружественных с ним отношений.

Ильф никогда не поступал так. Но о том, чего ему

стоили откровенные разговоры с авторами плохих книг, можно было бы немало порассказать.

Я помню, как он много раз перечитывал книгу одного из своих знакомых, изо всех сил стараясь найти в ней что-нибудь хорошее, как обескуражен он был, ничего не найдя, как тревожно готовился к неизбежному, с его точки зрения, разговору с автором этой книги и как смело и честно он повел этот разговор.

Нет, человеку сухому и ироническому были бы неведомы такие переживания. Сухой человек никогда бы не написал, уже будучи знаменитым писателем: «Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелами. На скамейках, где грустные девушки дожидаются счастья». Сухой человек просто бы не заметил ни скамеек, ни стрел, ни девушек. Ильф не только увидел девушек. Он сумел позавидовать им.

Из его записных книжек читатель узнал, каким был Ильф внимательным путешественником, как замечательно он чувствовал вес и окраску слов, как строго относился к себе, как много думал о своей работе, как неистощимо изобретательна была его фантазия, как тонко и безошибочно он видел самое главное в вещах, о которых рассказывал, как великолепно умел подмечать и писать смешное.

И еще в этих книжках видно, каким скромным он был человеком. Причем это была настоящая скромность, без примесей, полновесная, как чистое золото.

Мне случалось видеть самых разнообразных скромников. Были среди них такие, которым эта манера себя вести казалась импозантной, и именно потому они и были скромны; были державшиеся в тени по той простой причине, что им нечем было похвастать; были наступавшие

на горло собственному самодовольству, но ведущие себя при этом словно принцы в изгнании.

Ильф был не таким. Он был из тех не часто встречающихся людей, о которых можно сказать, что они не придают значения факту собственного существования. Его радости и невзгоды, его успехи и неудачи, его любовь к своему ребенку, его самочувствие — все это он никогда не считал достойной темой для разговора. Говорил он всегда о другом. И чаще всего расспрашивал, делая это с такой заинтересованностью, что было ясно — люди и их дела интересуют его совершенно искренне. Казалось, дай ему волю — и он целые дни напролет станет расспрашивать знакомых и незнакомых о том, как они живут, как относятся друг к другу, о чем мечтают, с кем и почему дружат или враждуют. И что любопытно — этот интерес у Ильфа не был профессиональным, писательским интересом. Ни у одного из его собеседников никогда не возникало ощущения, что, выслушав его исповедь, Ильф немедленно сядет за свой письменный стол и вставит его в свой роман. Видимо, самый тон разговора был у Ильфа не литераторский, а дружеский, видимо, его интерес к человеческим судьбам был таким бескорыстным, что люди не могли не чувствовать этого.

Он был вполне взрослым человеком в ту пору, когда мне посчастливилось познакомиться с ним, но, как у всех очень хороших людей, в нем сохранилось что-то мальчишеское, какая-то совершенно детская склонность к играм, способность играть всерьез.

Поводом для игр, в которые он часто вовлекал окружающих, могло быть что угодно — недавно прочитанное стихотворение, новый знакомый, впечатления от поездки.

Мне помнится, как однажды, прочтя в каком-то стихотворении о любви строчку: «Месяц ходил, звеня. . .», где речь шла о луне, а никак не о календарном месяце и звон был чисто метафорический, Ильф с интонацией комического ужаса принялся повторять эту строчку, комментируя ее следующим образом: «Вы подумайте! Целый месяц человек ходит звеня. А еще говорят, что в наше время разучились любить!»

Была такая игра. Называлась фамилия какого-либо деятеля искусства, и после короткого раздумья выкрикивалась цифра. Недоумевающему собеседнику, еще не осведомленному о смысле происходящего, Ильф сообщал, что речь идет о том, сколько советская власть переплатила названному деятелю за его создания. Увы, цифры были неизменно высокими. Особенно, помнится мне, доставалось в этой игре кинорежиссерам.

Материалом для множества шуток послужило Ильфу открытие в Москве диетического магазина. Заметка в записной книжке о колбасе для идиотов и прочем — только часть целого града забавных выдумок о возможных для этого магазина товарах специального назначения.

Очень смешно рассказывал Ильф об одном из первых московских кинофестивалей, где ему довелось присутствовать, и между прочим о встрече, которая у него там произошла.

Случилось так, что его место на всех просмотрах оказалось по соседству с местом одного из рапповских критиков, воззрения коего были всем нам хорошо известны и чрезвычайно далеки от ильфовских.

— Вы только подумайте,— удивлялся Ильф,— он все время смеялся там же, где я, сочувствовал тем же героям, что и я. Однажды мы с ним разговорились, и оказалось, что ему нравятся те же фильмы, что и мне. . .

А сегодня я прочел его статью и не знал, что и подумать. У него там написано все наоборот! Неужели он все это время врал? Врал — смеясь, врал — плача, врал — восторгаясь, врал — негодуя? Вы что-нибудь понимаете?

Я понимал, но Ильфу мои объяснения не требовались. Он и сам отлично разбирался в природе явления, с которым столкнулся. Но вот отнесся он к своему недавнему «единомышленнику» несколько неожиданно.

— Мне его очень жаль,— промолвил он, вдруг погрустнев.— Вы думаете, это легко — быть совладельцем литературной фирмы и торговать своими читательскими и зрительскими пристрастиями? Вы себе представляете, как этому человечишке хочется написать о том, что́ он действительно думает, и насколько хлеще он бы написал свое сочинение, ежели бы ему это разрешили компаньоны по группе? Вот то-то! А вы смеетесь.— И, посмотрев на мое серьезное лицо, Ильф весело рассмеялся.

Вспомнив об этом разговоре, я подумал о том, каким широким человеком был Ильф. Рядом с заморышами из всяческих тогдашних литературных сект, все мировоззрение которых укладывалось в какие-нибудь две мысли и четыре соображения, рядом с апологетами групповщины, позволявшими себе восхищаться только общепринятым в группе набором «правильных» сочинений, круг его литературных симпатий и интересов был просто безбрежен. Достаточно было в книге, фильме или спектакле появиться хотя бы отблеску мысли или таланта, свидетельствующему о том, что автор размышляет, трудится, ищет, как у Ильфа возникали к этому автору интерес и симпатия.

— Будьте лояльны,— любил он повторять.— Будьте благожелательны. Ждите от людей добра, верьте в чело-

веческие возможности! Упаси вас бог от литературных предубеждений!

И всем своим поведением — литераторским и в общении с людьми, не имевшими отношения к литературе,— Ильф подтверждал искренность этих своих призывов.

Однажды он сказал об авторе довольно посредственной книги:

— Подумайте, мы с Женей были уже всамделишные писатели, когда он только начинал бороться со словом «который», а теперь, вот видите, написал не очень плохую книжку. Вы себе представляете, как ему это было трудно?

И в голосе у Ильфа мне послышалась не насмешка, а уважение к трудолюбивому литератору, победившему почти непреодолимые для него преграды.

Уважение к человеческому труду и яростная ненависть ко всякого рода ловкачеству, к стремлению пролезть вперед, растолкав других локтями, всучить продукт недобросовестного труда, были свойственны Ильфу и Петрову в одинаковой степени. И нужно ли удивляться, что они не уставали об этом писать, всякий раз находя все новые и новые способы больно и точно хлестнуть по отчаянно извивающимся и необыкновенно живучим человекообразным из породы ловкачей и стяжателей.

При всей своей благожелательности и лояльности, а может быть, именно благодаря этому его доброму отношению к честным людям Ильф был очень опасным противником для любителей легкой жизни. Он в совершенстве умел распознавать их в самой густой толпе, и никакие громкие фразы о борьбе за правду или о горестной судьбе, толкнувшей такого субъекта на путь лжи и стяжательства, не могли помочь ему скрыть истинные

свои цели и побуждения от ильфовского иронического и ледяного взгляда.

Таким же, вероятно, был и Чехов — корректным и резким до грубости, мягким и беспощадным, доброжелательным и безошибочно распознающим злобу и ложь.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Некоторые думают, что писать вдвоем вдвое легче, чем одному. Бог им судья, этим приверженцам элементарной арифметики. Другие, отдавая дань таинственности и сложности творческого процесса и неизменно вспоминая при этом о двух пешеходах, которым, чтобы пройти километр вдвоем, нужно пройти его каждому порознь, готовы признать, что писать вдвоем так же трудно, как в одиночку. И только те, кто сами писали вдвоем, знают, что это ровно вдвое труднее.

Мне пришлось в этом убедиться на практике, когда мы с Петровым принялись за писание «Музыкальной истории».

Дело было зимой 1939 года. В комнате, где мы работали, было холодновато, музыкальных сценариев мы до этого не писали, а срок сдачи нашего первенца был угрожающе близок. Все это не способствовало лучезарности нашего настроения.

Несколько помогало делу то, что мы сразу же нашли «мальчика для битья», чтобы вымещать на нем все наши напасти. На эту почтенную роль единогласно были выбраны те, кому предстояло решать судьбу нашего будущего творения. Причем, так как этих людей мы тогда еще совсем не знали, нам открывалась полная свобода наделять их любой степенью глупости и злонравия.

Страшно подумать, каких чудовищ создало из них в первую же неделю работы наше раздраженное воображение.

Их было почему-то семеро, все они были, разумеется, физическими уродами, и их отношение к искусству было по меньшей мере проблематично. В музыкальных сценариях они, конечно, не смыслили ничего.

— Можете себе представить, как отнесется к этому тот, косой? — сардонически вопрошали мы друг друга, когда нам, по нашему мнению, удавалось придумать что-нибудь смешное.

Косой был начисто лишен чувства юмора, что не мешало ему считать себя непогрешимым экспертом по вопросам смешного.

Одним словом, работа не клеилась.

Потом дело пошло лучше, чудовища из воображаемого сценарного отдела стали упоминаться реже, и установилось нормальное рабочее настроение с нормальным чередованием успехов и неудач.

Но не следует думать, что нравы при этом достаточно сильно смягчились. Суровость по-прежнему царила в холодной комнате. Ни одно решение не принималось без ожесточенных дебатов, ни одна фраза не ложилась на бумагу в том виде, в каком кто-нибудь из нас ее предлагал.

Надо сказать, что Петров был громогласным, горячим, порывистым, восторженным человеком. В обычной беседе проекты реорганизации всех на свете человеческих установлений — от студенческих общежитий и до Лиги Наций — так и сыпались из него.

В работе же им овладевал какой-то демон осмотрительности. Насупившись и в тысячный раз протирая рукавом и без того блистающий чистотой полированный

кожух пишущей машинки, он без конца перебирал все возможные варианты каждого сюжетного положения, каждой ремарки, каждой реплики действующего лица. Как бы ни был удачен первый проект решения любого вопроса, он принимался только после того, как бывали придуманы десять других и с очевидностью установлено, что они хуже первого.

Вначале эта осмотрительность пугала меня. Кому не известна прелестная легкость, которая по временам овладевает пишущим человеком, когда фразы послушно следуют одна за другой, а мгновенные колебания сменяются спокойной уверенностью, что все идет хорошо. Что до меня, то я в ту пору привык дорожить такими минутами, и даже несмотря на то, что частенько на другой день мне случалось вымарывать целые страницы, написанные с «прелестной легкостью», я любил отдаваться этому настроению ради отдельных мелких удач, которые обычно ему сопутствуют.

Петров был решительным противником такой работы. И, к счастью, мне не потребовалось много времени, чтобы убедиться в его правоте.

— Работать должно быть трудно! — повторял он всякий раз, когда мы обсуждали этот вопрос.

И опыт неизменно показывал, что чем труднее нам давался тот или иной кусок, тем лучше он получался.

Дни пошли за днями, герой «Музыкальной истории» Петя Говорков быстрыми шагами приближался к успеху и счастью, а наши споры не прекращались. Правда, теперь уже эти споры велись не о том, как писать, и меня уже не покидала уверенность, что они приносят несомненную пользу нашей работе. Но некоторое беспокойство вызвал у меня ожесточенный характер, какой они по временам принимали.

Петров, видимо, заметил это, и однажды, когда на какое-то его предложение я миролюбиво кивнул головой, он, вместо того чтобы отстучать на машинке очередную фразу, подозрительно скосил на меня глаза. Потом, минуту помолчав, спросил:

— Почему вы не спорите? Я же вижу, что вам не нравится.

Я попытался уверить его, что он ошибается, мысленно представляя себя плывущим по воздуху в белых одеждах, с пальмовой ветвью в руке.

Тогда он по-настоящему рассердился и произнес горячую, великолепную речь о соавторстве. Из этой речи следовало, между прочим, что нигде лучше, чем в совместной писательской работе, не применимо древнее выражение о спорах, рождающих истину.

— Знаете, как мы спорили с Ильфом? — гремел он. — До хрипоты, и не до фигуральной хрипоты, а до настоящей, которая называется в медицине катаральным воспалением голосовых связок! Мирно беседовать мы с вами будем после работы. А сейчас давайте спорить! Что, трудно? Работать должно быть трудно.

И мы снова начали спорить.

К исходу того дня, когда мы наконец кончили писать «Музыкальную историю», программа была выполнена полностью. Катаральное состояние голосовых связок было налицо. И мирную беседу, которая завершила собой последний этап работы, мы вели голосами, напоминающими звук скверных пастушьих свирелей.

Сейчас, вспоминая те дни, я отчетливо вижу фигуру Петрова, слегка наклоненную вперед, с приподнятым правым плечом и руками, заложенными за спину. Он ходил

взад и вперед по комнате, и проекты один другого увлекательнее громоздились на его пути — проекты, долженствовавшие сделать счастливыми нас самих, наших сограждан и всех остальных жителей земного шара.

Эти проекты ничем не напоминали воздушные замки записных фантазеров и отличались чрезвычайной практической продуманностью. Во всяком случае, излагались они с таким блеском, что у слушателей неизменно возникала потребность засучив рукава немедленно взяться за их осуществление.

Он очень любил делать прогнозы. И совершенно по-детски радовался, когда они сбывались. Усмехаясь, он сам называл себя «пикейным жилетом» и по временам действительно напоминал своими пророчествами тех старичков, которых они с Ильфом некогда изобразили в «Золотом теленке». Лучшим способом подшутить над ним в этих случаях было сделать вид, что не помнишь о его прогнозе, который сбылся. Страшно волнуясь, он начинал вспоминать мельчайшие обстоятельства, при коих был сделан прогноз, а заметив улыбку на лице собеседника, но еще боясь поверить, что все это только шутка, начинал упрашивать его отнестись к разговору серьезней и так при этом томился и горевал, что только закоренелый злодей способен был бы довести до конца злую шутку.

Есть люди, которые, поселившись в комнате, кем-то до них обжитой, так и живут в ней, оставив все на своих местах. Такой человек в лучшем случае переставит письменный стол поближе к свету или сдвинет с места кресло, чтобы сделать шире проход. В других областях своей жизни и деятельности эти люди ведут себя так же. Легко входя в новую область, они живут в ней, подчиняясь со-

зданному до них порядку вещей, не стремясь ничего изменить, дорожа своим и чужим спокойствием.

Петров был не таким человеком. Представляя себе его переезд в новую комнату, я отчетливо вижу, как он, поставив на пол чемодан и критически оглядев обстановку, начинает, кряхтя, передвигать тяжелый платяной шкаф, требует, чтобы вынесли вовсе какую-нибудь не понравившуюся ему кушетку, и убеждает заглянувшего на шум соседа произвести в своей комнате точно такие же изменения.

Он был полон стремлением все вокруг себя перестроить, всех вокруг убедить в необходимости такой перестройки, во все вмешаться, все переделать своими руками.

Когда мне пришлось вместе с ним соприкоснуться с жизнью кинофабрики, я убедился в этом воочию.

Кстати, решали судьбу нашего сценария люди совершенно разумные, а период так называемого «прохождения сценария в производство» не был отмечен ни одним из тех колоритных и злых разговоров, какие мы рисовали себе в начале работы.

Колоритные разговоры начались потом.

Режиссер, которому была поручена постановка, по привычке, установившейся издавна, под видом режиссерской трактовки переписал сценарий по-своему. Как он объяснил нам, сделано это было не потому, что сценарий ему не нравился а потому, что «так» он ему нравился больше.

Тут-то и началась перестановка мебели в кинокомнате. Ознаменовалась она тем, что озадаченный режиссер выслушал речь об авторском праве, в которой Петров камня на камне не оставил от трактовки этого самого права на кинофабриках в те времена. За речью последовала кипучая деятельность, приведшая к тому, что этот вопрос

подвергся обсуждению на большом собрании киноработников. И, наконец, после того как была одержана полная победа, сценарий был кое в чем переделан так, как этого хотел режиссер, но переделан нами самими и только в тех местах, где мы признавали справедливость его требований.

Режиссер недоумевал.

— Зачем было поднимать такой шум? — говорил он нам, пожимая плечами.— Отлично бы поладили и без шума.

Разумеется, поладили бы. Но Петрову не это было нужно. И если теперь автору киносценария посчастливится встретить на фабрике внимательное и уважительное отношение к своей работе, и вместо насильственных, чужой рукой внесенных в нее изменений он сможет сделать все так, как сам найдет это нужным, пусть знает, что этим он обязан Петрову, который любил во все вмешиваться и мало заботился о сохранении своего спокойствия.

Незадолго перед войной мы с Петровым начали писать сценарий, который должен был называться «Беспокойный человек». Героиня этого сценария, молодая девушка, окончившая философский факультет, одержима идеей немедленной перестройки мира на разумных основаниях и поэтому бросает научную работу, чтобы ввязаться в практическую деятельность. В сценарии описаны многие ее трагикомические похождения, которые по замыслу должны были завершиться полной победой,— впрочем, не приносящей героине никакого успокоения.

Из всех наших замыслов ни один не вызывал у Петрова такой горячности и энтузиазма, как этот. Похождения Наташи Касаткиной — так звали героиню «Беспокойного человека» — мы обсуждали, как будто она была

реально существующим и обоим нам близким и милым человеком.

Ее споры с отцом, который не одобрял ее поведения и настаивал на том, чтобы она вернулась к занятиям философией, давались нам особенно трудно, потому что мы были целиком на стороне Наташи и никак не могли придумать убедительных реплик для ее оппонента.

Судя по всему, для Петрова эти размышления были в значительной мере автобиографичными. Стремление к практической деятельности было у него всегда неистощимо сильно и по временам вступало в настоящую борьбу с любовью к писательству. Однажды он признался мне, что ему до смерти хотелось бы хотя бы год поработать директором большого универсального магазина. Со своей стороны могу заверить читателя, что если бы мечта Евгения Петровича когда-нибудь осуществилась, это был бы лучший универсальный магазин в Советском Союзе.

Давным-давно кто-то из наших кинодеятелей, побывав в Америке, написал подобие отчета о своей поездке. В отчете этом, помимо других диковинок, какие ему довелось увидеть в Голливуде, он восторженно описывал такое достижение американской кинематографии: оказывается, в голливудских киностудиях, прежде чем приступить к съемкам кинокартины, сценарий ее отпечатывают во множестве экземпляров и раздают для ознакомления всем участникам будущей работы. Кинодеятель, восторженно описывая это достижение американских кинематографистов, настоятельно рекомендовал нашим работникам кино использовать их ценнейший опыт в своей работе.

Судьбе было угодно, чтобы этот отчет попал в руки Петрова.

Я не буду приводить эпитетов, которыми он характеризовал автора отчета, прочтя до этого места его творение,— это отняло бы слишком много места, и читателю придется представить их себе самому. Но при этом ему следует принять во внимание, что Петров сам побывал в Голливуде и очень горячо относился к идее использования американского опыта нашей кинематографией.

Причем надо сказать, что, в отличие от автора упомянутого отчета, он сумел увидеть у американцев то основное, чему нам действительно следовало у них поучиться. И этим основным в первую очередь были сроки производства кинокартин.

Они описали с Ильфом в «Одноэтажной Америке» способы, какими американцы «выстреливают» свои картины. Но, как всегда, описать Петрову было недостаточно. Его активная натура требовала действий практических и решительных.

Осуществить кое-что в этой области ему удалось, когда мы работали над сценарием об Антоне Ивановиче.

Все это предприятие было несколько американизированным. Предложение написать после «Музыкальной истории» еще один музыкальный сценарий было сделано нам внезапно. Никаких предположений о его сюжете и характере у нас не было. Сроки, поставленные нам, были до чрезвычайности сжаты. И все же Петров настоял на том, чтобы взяться за эту работу.

Несколько дней мы провели, блуждая по тропинкам подмосковного леса, где Петров жил на даче. Я полагаю, что люди, встречавшие нас в лесу в эти дни, имели все основания принимать нас за опасных маньяков, удравших из сумасшедшего дома. Мы кричали, размахивали руками, а по временам даже в лицах представляли сцены, подвергавшиеся обсуждению.

К вечеру третьего дня перед нами стали вырисовываться контуры будущего сценария.

Антон Иванович уже был тогда органистом, его дочь Сима была певицей, но вот Мухин был не композитором, а полным профаном в музыке. И именно этим он вызывал ярость у отца своей возлюбленной. По нашему замыслу, Сима должна была научить своего избранника понимать и любить музыку и таким образом примирить его со своим отцом.

Когда придумывание сюжета дошло до этого пункта, Петров внезапно остановился, преградив мне дорогу. Мы шли друг за другом по узкой тропинке.

— Сколько, по-вашему, нужно времени на то, чтобы научить человека понимать и любить музыку,— спросил он, повернувшись ко мне лицом,— если до этого человек был в музыке как кусок дерева?

— Если как кусок дерева,— малодушно ответил я, ощущая в груди неприятный холодок,— тогда, по-моему, год!

— Три года! — отчеканил Петров.— И вы это знаете не хуже меня. Давайте думать сначала!

Я сделал еще одну попытку спасти наш замысел:

— Ну, а что, если у Мухина это произойдет как у испуганной орлицы? Помните, «Пророк»? «Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы».

Говоря это я чувствовал, что голосу моему не хватает твердости.

Петров ухмыльнулся:

— Удивительно, какой вы становитесь хитрый, когда речь заходит о том, чтобы начать работу сначала! Как вы сказали? Как у орлицы? Интересная мысль!

Я пристыженно замолчал, и мы стали придумывать дальше.

Не буду рассказывать о дальнейших этапах нашей работы. Важно другое. Сценарий был написан ровно за месяц и, перепечатанный на машинке, сдан точно в назначенный день.

И уж тут, в разговорах с кинофабрикой, Петров не поскупился на голливудские параллели. Напирая на то, что сценарий был написан так же быстро, как это делают в Голливуде, он просто требовал, чтобы картина была снята такими же темпами. Нет, он не только требовал, он убеждал, угрожал, что-то высчитывал на бумажке, предлагал свою помощь в качестве помощника режиссера,— словом, переставлял мебель со всей доступной ему энергией.

Трудно сказать, в какой именно степени помогли делу его уговоры, но картина была снята довольно быстро. И его склонность принимать активное участие во всех областях работы, через которые ему случалось проходить, получила новое подкрепление.

Последний свой сценарий — «Воздушный извозчик» — он написал меньше чем в месяц.

Война разлучила нас с Петровым. И после долгого перерыва я увидел его в номере московской гостиницы, где он остановился, вернувшись из очередной поездки на фронт.

В комнате было сильно накурено, на письменном столе стояла пишущая машинка с вложенным в нее листом бумаги, рядом на стуле лежал трофейный немецкий автомат.

— Садитесь. Курите. Я сейчас кончу.

Он сел за стол и, громко кряхтя, что было у него признаком напряжения, с длинными остановками после каж-

дой фразы, дописал до конца корреспонденцию в американскую газету. Потом прочел мне ее.

Это был короткий рассказ о виденном на фронте в последние дни, с отчетливо выраженным стремлением описать все как можно более точно. В рассказе были зимний лес, дымящиеся развалины оставленных немцами деревень и непоколебимая уверенность в победе.

Рассказ мне понравился. Говорить об этом мне было не нужно, он и так меня понял, и мы помолчали. Потом он порылся в ящике стола и протянул мне продолговатый кусок картона с маленькой фотографической карточкой в правом углу. Это было удостоверение члена фашистской партии, закончившего свою жизнь и деятельность несколько дней назад где-то в районе Ржева. С фотографии на меня глядело худосочное, наглое, прыщавое личико с белесыми глазками. Такое лицо могло бы быть у блохи, если бы она мечтала о мировом господстве.

— Гегемоны! Поработители! — проворчал Петров, бросая карточку в ящик стола.— Те из них, с которыми я говорил, не годятся даже на роли околоточных надзирателей. Ну да черт с ними! Что сегодня в опере?

Но в оперу мы не пошли, а отправились ко мне и всю ночь продежурили на чердаке, застигнутые воздушной тревогой. Вместе с нами дежурил мой сосед по квартире — дирижер симфонического оркестра.

К середине ночи Петров очень с ним подружился и, размахивая руками, прочел ему целый доклад о том, как следует исполнять Четвертую симфонию Чайковского, а потом спел чуть ли не с начала до конца оперу Верди «Отелло».

Под утро, когда Петров ушел к себе в гостиницу, мой сосед, проводив меня до моей двери, сказал:

— Знаете, он очень интересно говорил о Четвертой симфонии. А «Отелло» он знает гораздо лучше меня.

Это была моя последняя встреча с Петровым.

Не знаю, удалось ли мне хоть в какой-либо степени дать читателю представление о том, какой человек был Петров. Помог ли я читателю увидеть Петрова таким, каким его помнят те, кто с ним встречался,— всегда взволнованным и вместе с тем удивительно сдержанным и корректным, всегда готовым взяться за любое дело, куда угодно поехать, подружиться с человеком, если он стоил того, или повздорить, если для этого были причины?

Почувствует ли читатель, как великолепно этот человек был приспособлен для жизни, для работы, для борьбы, как жадно он жил, работал, боролся?

И как многому можно было научиться, работая вместе с ним и следуя за ним по тем неизменно трудным дорогам, которые он избирал. . .

ЕВГЕНИЙ ШАТРОВ •

НА КОНСУЛЬТАЦИИ

— Да, да, прочел... Встретимся послезавтра, в два часа дня, в «Литературной газете».

Я бережно положил телефонную трубку. Встречу назначил Евгений Петров. Писал я тогда (1939 год) в соавторстве с С. Шатровым, и наши фельетоны уже печатались в «Крокодиле», в «Смене», в «Комсомольской правде». Хотелось узнать мнение о себе такого строгого редактора, как Петров. Мы послали ему два новых фельетона с просьбой «проконсультировать».

В назначенное Евгением Петровичем послезавтра соавтор мой был болен, и я отправился в «Литературную газету» один. Петров опоздал на пять минут. Он вошел,

стройный, худощавый, стремительный, приглаживая на ходу волосы, и тут же извинился за опоздание.

Отыскав пустующую комнату, мы сели за небольшой квадратный столик, вроде шахматного. Петров выглядел очень усталым, невыспавшимся. Вынув из внутреннего кармана пиджака наши рукописи, он положил их перед собой. Затем достал тоненький автоматический карандашик в металлической оправе.

Один фельетон Евгений Петрович отодвинул в сторону, а другой быстро пробежал, ставя кое-где на полях птички. Отодвинутый фельетон представлял собой юмористическое повествование о некоем вымышленном поэте, пишущем только на юбилейные темы. Хитрыми мотивировками мы заставили нашего героя лишиться настольного календаря, после чего он претерпевал творческую катастрофу.

Кончив расставлять птички, Петров тронул пальцами рукопись отложенного фельетона и сказал:

— Это печатать нельзя! Календарь — старая тема, о календарях уже было.

— У кого было? — спросил я.

— Не помню, но было. Ах, да, Катаев писал о календаре! И еще кто-то. . . А для того, чтобы иметь собственный голос, нельзя писать о том, о чем уже писалось. Пусть писалось не именно это, а что-то похожее, напоминающее, близкое. Все равно нельзя повторять! Мысль должна быть абсолютно новой.

Он сделал короткую паузу, а затем, оживляясь все больше, продолжал:

— Существует множество банальных тем, которыми нельзя пользоваться, несмотря на их сохранившуюся актуальность. Нельзя писать о теще, хотя и сейчас есть тещи, отравляющие человеку жизнь. После революции

возникла тема о фининспекторе. Она так исписана, что звучит как тема о теще. Несколько лет писалось о том, что машинистка — кисейная барышня. Затем пришлось писать фельетоны, доказывая обратное, доказывая, что машинистка труженица. Тема жалобной книги возникла до революции. Ввел ее Чехов. Но теперь бесконечно повторяют Чехова, пишут про жалобную книгу «по Чехову». Нельзя этого делать!

Петров уже встал со стула и ходил по комнате, энергично жестикулируя.

— Фельетонист должен развивать в себе отвращение к банальности! — говорил он.— Важно, кто сказал первый, а не кто удачно перепе́л или усовершенствовал. Ремингтон изобрел пишущую машинку и умер в бедности. Машинку после его смерти усовершенствовали, но на ней стоит «Ремингтон». История проявляет пластинки, и тогда выясняется, кто сказал первый, кто открыл! Все это относится не только к теме фельетонов, но и к приемам, выражениям, словам. . .

Евгений Петрович взял одну из наших рукописей и, уже мягко, сказал:

— Вот есть здесь фамилия Пружанский! А ведь эта фамилия уже была, у нас с Ильфом была.

Мне стало и неловко и обидно. Я прекрасно помнил, как искали мы эту фамилию. Был у нас знакомый директор цирка Пружанов. Начало фамилии показалось подходящим для нашего персонажа, но окончание звучало как-то приглушенно. Тогда мы переделали Пружанова в Пружанского. Я рассказал об этом Петрову.

— Да ведь речь идет не о прямом заимствовании! — воскликнул он.— Пишущий человек окружен атмосферой уже известных в литературе положений, мыслей, острот, слов. Они носятся в воздухе. Часто они приходят ассо-

циативно. Не знаешь даже, где слышал! Возможно, что ваше воспоминание о цирковом директоре наложилось на воспоминание о фамилии, прочитанной в чужом фельетоне. Не важно, как это произошло, важно, что фамилия Пружанский употреблялась... Надо постоянно проверять себя, контролировать. Беспощадно отсекать чужое! Преодолевать атмосферу банальности! Ее трудно избегнуть. Если меня попросят быстро сравнить с чем-нибудь луну, я наверняка дам банальное сравнение... Значит, в таких случаях не следует торопиться!

Петров сел и начал вертеть в руках металлический карандашик. Он продолжал говорить, как бы подводя итог сказанному:

— Особенно строго должен относиться к себе тот, у кого есть данные для своего слова, для собственного голоса. Писать надо по-своему, и писать как можно острее! Первое время от этого будет, может быть, и плохо, но зато потом будет хорошо (не через месяц!). Напечататься сейчас легко и понравиться тоже не трудно. Не соблазняться такими возможностями! Говорить только новое! И еще один совет: не обязательно в каждой строке острота. Лучше пусть будет больше острых мыслей, чем острых слов!

Затем Петров принялся за разбор второй нашей рукописи. Это был фельетон о песенниках, спекулирующих на конъюнктурных темах. Фельетон Евгению Петровичу понравился: «Печатать можно хоть сейчас»,— сказал он. Разговор пошел об отдельных огрехах, отмеченных птичками. К сожалению, даже не огрех, а непростительный ляпсус оказался в первой же фразе, с первого же слова. Фельетон начинался так:

«Библия была написана лишь потому, что апостолы страшно нуждались».

— Не библия, а евангелие,— поправил Петров.— Нужна точность!

Забраковал он и две из встречавшихся в фельетоне фамилий — Тылкин и Полусмак.

— «Полу» уже использовалось, поэтому и плохо. А Тылкин — просто неприятно звучит... И выражение «бодрячковый мотив» тоже неприятно. Строже проверяйте себя на слух, на вкус!

— Относительно «бодрячкового» мы сами сомневались!

— И очень хорошо, что сомневались... Теперь вот тут есть у вас «Запевки фуражира». Фуражир — старое, забытое слово, а среди недавно введенных воинских званий имеется звание интенданта. Не лучше ли сделать «Запевки интенданта»?

Петров весело блеснул глазами и, вопросительно взглянув на меня, уже приготовился вписать своим карандашиком «интенданта». Но я запротестовал, я гордо заявил, что мы подумаем. Конечно, надо было послушаться Петрова, но мы по младости лет уперлись и вскоре напечатали фельетон в «Комсомолке», так и не заменив анахроничного «фуражира».

Остановился Евгений Петрович еще на двух-трех местах, отмеченных галочками, всякий раз замечая:

— Еще бы тут поработать! Еще!

— Мы стараемся... Мы очень медленно пишем,— сказал я.

— Вижу, что вы пишете добросовестно. Иначе бы и не разговаривал! Но для добросовестности нет пределов.

Прощаясь, Евгений Петров снова напомнил, что самый злой враг фельетониста — банальность, которой надо остерегаться пуще всего. Если встретится необходимость в его помощи, советах, Петров просил обращаться всегда,

в любое время. И снова заметил я по лицу Петрова, что он очень утомлен.

Только теперь, больше двадцати лет спустя, узнал я, почему Евгений Петрович выглядел в тот день таким усталым. На сохранившихся у меня листках с записью всего сказанного Петровым есть и дата нашей встречи — 3 марта 1939 года. Накануне у Петрова родился сын. И вот после треволнений бессонной ночи этот человек все же пришел поговорить с молодым фельетонистом, опоздав лишь на пять минут и тут же извинившись!

А. РАСКИН •

НАШ СТРОГИЙ УЧИТЕЛЬ

Я познакомился с Евгением Петровичем Петровым в 1937 году, в самом начале своей литературной работы. С первой же встречи он стал своеобразным литературным «шефом» для меня и для моего соавтора М. Слободского. Каждому начинающему литератору желаю я такого умного, доброжелательного и в то же время взыскательного, щедрого на критику и скупого на похвалу шефа.

Пять лет я регулярно встречался с Петровым в редакциях «Литературной газеты» и «Крокодила», несколько раз бывал у него дома. Я очень хорошо помню все эти встречи. Спешу оговориться—у меня нет никаких

прав на высокое имя близкого друга этого замечательного человека и великолепного писателя. Я просто считаю своим долгом поделиться с читателем некоторыми воспоминаниями о нем, о том, как он работал с молодыми литераторами, как воспитывал в них уважение и любовь к своей профессии, к читателю, к товарищам по работе. Немало людей, и я в том числе, многим обязаны Петрову, его советам, его вкусу и темпераменту.

Мне хочется еще раз встретиться с Петровым в этих записках, пожать его большую, крепкую руку, сказать ему, что он жив в сердцах читателей, друзей, учеников.

Высокий, красивый, черноволосый человек с живыми, полными умного лукавства глазами поднимается нам навстречу с редакционного дивана.

Он в превосходном красновато-коричневом костюме, удивительно идущем к нему. Только что на этом самом диване он, полулежа в непринужденной позе, рассказывал нечто невероятно смешное, судя по тому, что за столом до сих пор помирают со смеху несколько человек. Однако сейчас, знакомясь с новыми для него людьми, он абсолютно серьезен, корректен, почти чопорен.

— Петров,— коротко говорит он, пожимая нам руки.

Петров! Живой Евгений Петров! Мне и моему другу вместе едва наберется сорок пять лет, несколько месяцев назад «Литературная газета» напечатала наш первый фельетон, и человек, создавший Остапа Бендера, Васисуалия Лоханкина и уездного предводителя команчей Воробьянинова, не может не вызывать в нас чувства, близкого к благоговению. Некоторое время мы молча восторженно любуемся Петровым. Мы пришли поговорить об очередной нашей вещи, которая почему-то не идет

в «Литгазете». Петров сказал, что вещь ему нравится и что, хотя вокруг нее идут споры, он все же надеется увидеть ее в газете. Ближайший номер газеты подтвердил его слова.

Мы показали Петрову свежий номер журнала «Октябрь» с большой статьей об Ильфе и о нем.

— Я это читал,— сказал он.— Автор упоминает о негре Джиме, описанном нами. Это ошибка. Негра звали Джип, и у нас написано «Джип».

Тогда меня весьма удивило это столь характерное для Петрова замечание. Оно показалось мне несколько мелочным. Но Петров не терпел путаницы, неряшливости, неточности и в большом и в малом. Тем более что речь шла о живом человеке, которого он видел, о котором писал. Равнодушных строк у него не было. И конечно же у него было ощущение некоторого неуважения автора статьи к материалу, который тот цитировал. Когда позже я прочитал у Ильфа в «Записных книжках» ядовитые строки о том, как держали двадцать корректур и все-таки на титульном листе вышедшей в свет книги было напечатано дикое слово «Энциклопудия», я тотчас же вспомнил разговор о Джиме-Джипе. Петров тут же, стоя, внимательно прочитал наши пародии, напечатанные в той же книжке журнала. Читал он с каменным лицом, очень редко улыбаясь короткой, мимолетной улыбкой. Так читал он потом все наши вещи. Я не помню случая, чтобы Петров громко засмеялся при чтении фельетона или пародии.

Прочитав очередной материал, он обычно говорил какую-то короткую фразу: «Годится», или: «Смешно», или: «Получилось», или: «Фельетон вышел». Восторги и комплименты были ему чужды. Так было в тех случаях, когда вещь его устраивала. Когда, по его мнению, вещь

не получалась, он бывал несколько многословнее. Точным, неопровержимым жестом он указывал на слабые места, неудачное слово, натянутые остроты. Он не читал нам лекций, не поучал. Товарищеский по тону, без обидной нотки снисхождения, разговор всегда был по существу. Разговор о том, что мы могли и должны были сделать эту вещь не хуже, а лучше предыдущих, что, видимо, слишком легко мы пишем, а это не годится. Надо больше, серьезнее, вдумчивее работать. Иногда мы пытались спорить. Но это было совершенно невозможно. Вероятно, главным образом потому, что Петров был почти всегда прав и превосходно понимал это. Но все это было потом. А пока что мы застыли в трепетном ожидании, удрученные бесстрастным лицом читающего нас Петрова. Он неторопливо переворачивал страницы, наконец дочитал и довольно равнодушно взглянул на нас.

— Это талантливо. . .— совершенно неожиданно и очень спокойно заявил он, указывая на одну из вещей, кажется — пародию на Эренбурга.

Мы радостно переглянулись и просияли.

— Но конца-то нет у вещи,— тем же тоном продолжал Петров,— разве вы сами этого не чувствуете?

К ужасу нашему, мы это сразу почувствовали.

Петров перевел разговор на другие темы, и вскоре мы простились, обещав ему на днях принести новый фельетон. Мы стали часто встречаться с Петровым, и как-то само собой получилось так, что он стал направлять нашу работу, журить, советовать, спрашивать отчета. Нам радостно было думать, что человек, в романы и фельетоны которого мы были влюблены еще школьниками, стал нашим редактором, шефом, руководителем. Мы очень много писали в этот период и стали постоянными фельетонистами «Литературной газеты». Петров требовал фелье-

тоны в каждый номер. Он был с нами строг, ироничен, иногда добрел, но больше никогда не хвалил нас в глаза. Однако то и дело мы слышали от разных людей, что он тепло отзывался о нас.

Бывая у Петрова в редакции, мы наблюдали его в работе, в общении с людьми, подолгу засиживались у него в кабинете.

— Посидите,— часто говорил он нам,— куда вам спешить? Не станете же вы уверять меня, что прямо отсюда побежите к своему письменному столу и жадно приметесь за работу?

Он был в то время заместителем главного редактора, фактически делал «Литературную газету». Ему приходилось проводить совещания, принимать посетителей с претензиями, читать громоздкие критические статьи и ажурную лирику. Все это он делал корректно, со свойственной ему в высшей степени добросовестностью и с органическим отвращением к сухой, приевшейся форме.

Помню большое совещание критиков, созванное как-то в редакции. Критические зубры всех видов и рангов плотно сгрудились за большим зеленым столом. Петров поднялся, чтобы открыть совещание. Секунду он стоял молча, как бы пробуя на вкус обычные в таких случаях казенные фразы. Но вот улыбка чуть тронула его губы, и полушутливые слова: «Ну вот, мы опять собрались все вместе. . .» — вызвали дружную ответную улыбку у всех присутствовавших. Свежий ветерок хорошего юмора ощутимо пронесся по большой, полной папиросного дыма комнате.

Помню еще одно совещание, где наблюдал я Петрова. На сей раз в редакцию пришли поэты. Их было много, все они были по какому-то поводу весьма агрессивно настроены и все выступали с завидным блеском, по всем

правилам ораторского искусства, громя оппонентов и частично редакцию. Во время наиболее острого выступления, прямо направленного против Петрова, я невольно взглянул на него. Он сидел очень спокойный, немного нахмуренный и сосредоточенно чертил карандашом на крышке папиросной коробки. Ни реплики, ни взгляда,— воплощенная выдержка и самообладание.

Когда совещание кончилось, я подошел к Петрову. Он поднял на меня глаза и тихо сказал: «Как они все говорят! Выступает один — Цицерон! Выступает другой — Демосфен! Что, если б они писали хоть вполовину так хорошо, как выступают. . .»

Мысль была не новая, но противоречие между тусклым творчеством наиболее грозных ораторов и пламенным их витийством было столь же разительно, сколь и убийственно подмечено.

Как-то в кабинете Петрова пришлось мне наблюдать совершенно трогательную сценку. Седовласый, престарелый, почтенный профессор вел с Петровым обширнейший разговор на фольклорные темы. Разговор велся в наисерьезнейших тонах и закончился вполне деловой договоренностью. Пожимая на прощание руку Петрова, профессор с большим чувством сказал, что ему чрезвычайно приятно лично познакомиться с автором блестящих романов, доставивших ему столько удовольствия. Тут профессор внезапно захохотал. Он смеялся очень долго, не выпуская руки Петрова, пытаясь произнести нечто членораздельное, и, не в силах совладать с этим веселым пароксизмом, только махал свободной рукой. Впечатление было такое, будто на него разом нахлынули все смешные места из «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», и водопад смеха закружил профессора, как соломинку. Крайне смущенный, Петров не знал, что делать, он по-

пробовал из вежливости посмеяться вместе с профессором, но из этого ничего не вышло. Продолжая веселиться, профессор выпустил руку Петрова и, звонко хохоча, пошел по коридору. Петров не без изумления посмотрел ему вслед, пожал плечами и заговорил с нами подчеркнуто серьезным тоном, совершенно исключавшим всякое дальнейшее веселье.

Был в этом кабинете и гораздо менее забавный разговор. Пришел к Петрову известный критик, сильно задетый в последнем номере «Литературной газеты». Он предъявил свои претензии к редакции,— кое в чем он был, несомненно, прав.

Удивительно мягко, человечно говорил с ним Петров, не отделываясь общими местами, не ловя собеседника на слове, стараясь убедить его в своей правоте и признавая его доводы, если они были основательны.

Критик долго пил кровь Петрова и ушел только наполовину удовлетворенный. Трудный, мучительный разговор заметно утомил Евгения Петровича.

— Да,— бросил он в ответ на наши сочувственные взгляды,— вот и такие разговоры приходится вести.

Мало кто остается на высоте в подобном положении. Петров был на высоте.

Он не был оратором, не пускал бенгальских огней тонкого остроумия через каждые два слова. Разговор его был прост, точен, целеустремлен, в нем всегда присутствовала какая-то острая и принципиальная мысль.

Разговора «вообще», так называемой болтовни, я не слышал у Петрова. Это не значит, что речь его была суха и программна. Вовсе нет. Юмор не изменял Петрову, он шутил не слишком часто, но всегда очень хорошо и метко. Это он сказал нам как-то: «Вы хотите убедить меня, что просто горите на работе. Да, вы горите, но

только предварительно застраховавшись от пожара». Иногда он, увлекшись разработкой темы, делал нам литературные подарки, и очень ценные. Как-то для одного нашего фельетона нужны были смешные фамилии. Кое-что было придумано, однако большого смеха не получалось. Тогда Петров с ходу подарил нам противоестественную женщину Анну Брюк, подозрительного мужчину с двойной фамилией Понтиев (Пилатский) и еще кого-то, не уступавшего двум первым. Было видно, что фамилий хватит на добрый десяток фельетонов.

Как-то вечером я зашел в редакцию к Петрову. Он был один в кабинете, груды рукописей лежали на столе. Было поздно, он устал и, видимо, рад был небольшому перерыву в работе. Мы заговорили о новых книгах, и я преувеличенно расхвалил сборник одной писательницы, вещи которой мне тогда нравились. Петров слушал меня молча, явно не разделяя моих восторгов, и острый взгляд его становился все ироничнее.

— Вы не согласны со мной, Евгений Петрович? — спросил я его.

— Видите ли,— сказал он медленно, как бы проверяя на слух каждое слово,— писательница, о которой вы говорите, способный человек, но отец у нее зубной врач. И вот она в каждой своей книге, на каждой странице, убеждает читателя, что отец у нее не зубной врач, что сама она целиком и полностью переварилась в пролетарском котле и что зубные врачи к ней вообще никакого отношения не имеют. По крайней мере, у меня именно такое впечатление. И мне лично это, признаться, уже надоело!

У меня захватило дух от такой уничтожающей и неожиданной критики, тем более что справедливость ее я должен был признать в ту же минуту.

Петров был по-хорошему беспощаден там, где дело касалось его литературного вкуса, его принципиальности, его уважения к своей работе. Дважды за эти годы он страшно накричал на меня, дважды я уходил от него жестоко разобиженный и дважды, распекая меня, был прав он.

Дело было так. В редакции «Литературной газеты» Петров забраковал наш фельетон. Огорчившись, я необдуманно заметил, что в редакции «Крокодила» он бывает гуманнее и там фельетон имел бы шансы на успех. Петров побагровел от негодования.

— Вы говорите глупости! — напустился он на меня.— Как вам не стыдно! Подумайте, что вы говорите! За кого вы меня принимаете?

Он долго отчитывал меня, глубоко возмущенный нелепым предположением, что он, Петров, может быть хамелеоном. Мне было очень стыдно.

Второй раз, уже в «Крокодиле», защищая свой рассказ, я, истощив все средства, сослался в заключение на какое-то общее место из учебника по теории литературы. Петров резко прервал меня, не дослушав даже первых фраз.

— Что вы мне рассказываете? — закричал он.— Это я и без вас знаю. Вы о рассказе говорите. А рассказ плохой. И нечего увиливать от этого! Да, да, нечего!

Возражать опять же не приходилось.

Долго дуться на Петрова я не мог, а он ни разу потом не попрекнул меня этими двумя случаями.

Постепенно в беседах его с нами все чаще стала сквозить мысль о том, что литературная тематика слишком узка, что фельетонист должен стоять ближе к жизни, что писать надо нам на более общие, более широкие темы.

С увлечением рассказывал нам Петров о своей работе в «Правде», о том, как впервые Ильф и он перешагнули порог ее редакции. О редакторе, о разговорах с ним рассказывал он с какой-то особой теплотой. Особенно запомнился мне один случай. В газете был напечатан фельетон Ильфа и Петрова. Редактору указали, что фельетон, независимо от добрых намерений авторов, может читаться двояко и что печатать его не нужно было. Редактор вызвал к себе Ильфа и Петрова.

— Он не стал каяться и причитать,— рассказывал нам Петров.— Он не свалил все на нас, не кричал, что мы обманули его доверие. Более того — он вообще не рассказал нам всей предыстории. Он сказал только, чтобы завтра же мы положили ему на стол новый фельетон. И чтоб это был хороший фельетон. Надо ли говорить, что фельетон был положен на стол и пошел в номер?

Рассказ произвел на нас большое впечатление, и мне тогда же подумалось, что только с таким редактором и можно работать.

Через несколько месяцев «Литературная газета» напечатала очередной наш фельетон. В этом фельетоне, о котором я сожалею до сих пор, мы, по молодости лет, позволили себе некоторые личные намеки на наших знакомых. Газете было на это указано. Редактор газеты Евгений Петров вызвал Раскина и Слободского к себе. Он не причитал и не каялся. Он не свалил все на нас.

— Мы совершили ошибку,— сказал он,— давайте поймем это и вместе будем исправлять ее. Когда будет следующий фельетон?

Слово у Евгения Петрова не расходилось с делом.

С ним хорошо было работать, интересно было встре-

чаться, и недаром такое огромное количество самых разных по возрасту и занятиям людей знало и любило Петрова. Он жадно любил жизнь, близко к сердцу принимал все происходящее кругом.

Теннисный матч с чехословаками, новая вещь Шостаковича, новый стахановский рекорд, новое прекрасное здание, новая плохая пьеса, старая плохая дорога — все это воспринималось им с остротой поистине необыкновенной. Петров был гениальным болельщиком в лучшем и благороднейшем смысле этого слова. Он страстно, самозабвенно «болел» за свою страну, за ее успехи на колхозном поле и на полях международной дипломатии, за родное искусство и новую культуру социалистического быта.

Он был взволнован и беспристрастен.

Но строительство новой жизни не было для него спортом. Он только вносил в свое участие в нем лучшие качества подлинного спортсмена: выдержку, темперамент, волю к победе. И, конечно, ум, принципиальность, масштаб, присущие крупному советскому публицисту.

Из всех рассказов о Петрове (а из них можно было бы составить интереснейший сборник) мне особенно запомнились два.

Поэт Г. вместе с Петровым участвовал в автомобильном пробеге писателей в 1938 или 1939 году. Пробег шел по маршруту: Москва—Ярославль—Москва. Пыльным летним вечером машины въехали в городок Переславль-Залесский. Город мал, телеграммы, посланной из Москвы участниками автопробега, никто не получил. Гостиницы в городе не было. Усталые литераторы приткнулись на ночь в каком-то случайном помещении. Утром Петров объехал в своей машине город Пере-

славль-Залесский и потребовал аудиенции у председателя горсовета. В кабинете председателя Петров мягко, но настойчиво указал «отцу города» на отсутствие гостиницы и автомобильной колонки, на криво висящие почтовые ящики и на полное отсутствие так называемого сервиса.

— Город, полный исторических традиций,— говорил он,— город, лежащий на такой оживленной трассе, как Москва—Ярославль, в эпоху развития автомобилизации не имеет права быть таким, как теперь. Вы должны понять это! От вас зависит сделать его другим.

Ошеломленный предгорсовета ничего не мог возразить. Факты были за Петрова. Прощаясь, Петров грозно пошутил:

— На обратном пути я проверю, все ли сделано вами!

И еще один рассказ известного беллетриста К., отдыхавшего вместе с Петровым в Доме творчества писателей в Ялте.

«Я привык работать каждое утро,— рассказывал К.— Садясь за письменный стол, я уже знал, что не успею обмакнуть перо в чернильницу, как из сада послышится вопль Евгения Петровича:

— Безобразие! Почему тут лежит мусор? Почему его не убирают? Что это такое?

Я пережидал эту тираду, чернила на пере высыхали, и я вновь макал перо в чернильницу. Тотчас же откуда-то с горы доносился голос Петрова:

— Что это значит? Безобразие! Тут же люди отдыхают! Я напишу об этом!

Я вздыхал и выдерживал длительную паузу. Когда я наконец решался вновь потянуться к чернильнице, ветер с моря приносил обрывки слов: «Безобра! Бюрокра! Как не сты! Фельето!»

Так я и прожил весь этот месяц. . .»

Помню, мы очень смеялись, слушая этот анекдотический рассказ. Нам казалась тогда довольно забавной эта черта горячности в характере Петрова. И только много позже понял я, что это клокотал в его груди бешеный темперамент подлинного фельетониста. Мы часто привыкаем к тому, что не все вокруг нас точно, чисто, осмысленно делают свое дело. Вот этой черты невольного попустительства, некоторого примиренчества с «отдельными неполадками» вовсе не было в Петрове. В мире, где он жил, в стране, которую он любил, не должно было быть ничего дурного, пошлого, беспорядочного. Как на личное оскорбление реагировал он на все, что мешает нашему движению вперед. Поэтому, думается мне, так страстно звучат и по сегодняшний день многие фельетоны Ильфа и Петрова.

Петров любил и умел втаскивать людей в литературу. Он «втащил» в нее талантливого А. Козачинского с повестью «Зеленый фургон». Он много работал с молодыми прозаиками. Он, если я не ошибаюсь, посоветовал инженеру-автомобилисту С. Алешину писать юмористические рассказы, печатавшиеся в «Огоньке» и «Крокодиле». Впоследствии инженер стал видным драматургом.

«Напишите об этом!», «Сядьте и напишите это!», «Я обязательно об этом напишу! . .» — эти фразы часто слышали мы от него.

Весной 1938 года «Правда» впервые напечатала наш фельетон «Коровьи глаза». Петров был в то время на юге. Спустя несколько недель он вернулся в Москву и встретился с нами. Мы взволнованно спросили, читал ли он наш фельетон.

Петров подробнейшим образом рассказал нам, как он приехал на пароходе в какой-то южный город, как он гу-

лял по этому городу, как увидел на улице «Правду», как подошел и прочел наш фельетон. Не думаю, чтобы ему так уж интересно было вспоминать все это. Но он видел, с каким жадным интересом ловили мы каждое его слово, и не считал себя вправе опустить что-либо. Эта особенность Петрова упоминается в одном из напечатанных рассказов о нем. Она была органически присуща Петрову. Особенность эта — уважение к человеку.

Летом 1938 года мы приехали на дачу к Петрову в Клязьму. «Евгений Петрович играет в волейбол»,— сказали нам. Площадка была рядом. Петров был босиком, в черных, подвернутых снизу брюках и в белой майке-безрукавке. Игра была на обычном дачном уровне, но довольно азартная. Петров играл посредственно, в его команде были игроки и получше, но душой команды был безусловно он. Именно он призывал «нажать», «подтянуться», «обставить», короче говоря, сделать все возможное и даже невозможное, чтобы добиться победы.

Команда Петрова все-таки проиграла. Он подошел к нам с самым искренним огорчением на лице, задорно вызывая победителей на завтрашний матч-реванш.

Я хорошо помню этот вечер на дачной веранде. Петров и В. П. Катаев внимательно рассматривали рисунки к нашей первой книжке, сделанные жившим на той же даче художником Ротовым. Помню вдохновенный и восхитительный рассказ Петрова о навозных жуках на каком-то пляже. Он необыкновенно живо рассказывал и чуть ли не показывал нам, как один жук катит шарик «того самого», второй жук вступает в борьбу с первым за обладание «тем самым» и как третий жук — «бандюга» — хватает шарик и катит его прочь от озверевших драчунов.

Петров не был оратором, но рассказчиком был превосходным. О первом он знал, во втором не был убежден. Помню, как год спустя он с большим удивлением говорил нам, что, оказывается, может по два часа «держать аудиторию», рассказывая об Ильфе, об Америке, о своей работе.

Это было после ряда его творческих вечеров в Ленинграде. Вечера имели шумный, неистовый успех. Петров очень близко принимал это к сердцу, был радостно взволнован и совершенно растрогался, когда на вечере в каком-то художественном институте ему торжественно преподнесли маленького позолоченного теленка, специально сделанного для него студентами.

Осенью 1938 года меня и Слободского принимали в Союз советских писателей. Петров присутствовал при этом, произнес много хороших слов о нашей работе, которые я позволю себе опустить, и особенно почему-то напирал на то случайное обстоятельство, что один из нас недавно окончил Литературный институт и сдал государственные экзамены на «отлично». Этот скромный факт произвел на Петрова столь глубокое впечатление, что он никуда не мог уйти от него в своей речи. Упомянув о нем в третий или даже в четвертый раз, Евгений Петрович не без юмора заметил:

— Но я, кажется, начинаю повторяться и потому лучше закончу свою речь. . .

Он горячо защищал свои литературные симпатии. Помню, как ополчился он раз на критиков, щипавших тогда Юрия Германа.

— Отличный писатель,— кипятился Евгений Петрович,— не понимаю: чего они от него хотят? Виноват он только в том, что его интересно читать.

Помню наш разговор о Сергееве-Ценском. Он страшно

накричал на меня за то, что я сдержанно отозвался об одной из его книг.

— Это великолепный, огромный мастер,— кричал Петров,— и я удивляюсь, что вы так говорите о нем! Возьмите его книгу «Массы, машины, стихии». Ведь это лучшее, что было у нас написано о мировой войне. Сознайтесь, вы ее не читали?

Я сознался.

— Так прочтите,— сказал Петров,— и тогда говорите.

Видимо, тема разговора давно волновала его. Скоро в «Литературной газете» появилась большая статья Петрова, где я нашел несколько абзацев из нашей беседы.

С восторгом говорил всегда Петров о Маяковском.

— Это был человек неслыханного остроумия,— говорил он,— и учтите, что когда в «Крокодиле» его вещь не вызывала смеха, он не спорил, не доказывал, что это смешно. Он просто читал другую вещь. А вы всегда спорите. О чем же спорить? Или смешно, или не смешно. Вот и все.

Весной 1939 года мы встретились с Петровым в «Крокодиле». Он был весел, собирался в отпуск и, оставляя кому-то доверенность, заявил, что самые любимые его слова на свете, которые приятнее всего ему писать,— это «причитающиеся мне».

Мы принесли в редакцию «Крокодила» нашу первую пьесу-комедию «Обман зрения». Петров живо заинтересовался папкой с пьесой, взвесил ее на руке, прочел список действующих лиц. Ему явно было по душе, что мы написали большую, полнометражную вещь.

— Три действия,— повторял он,— шесть картин. Молодцы! Молодцы! И у девушки имя хорошее — Тая. А вы слышали, есть такое имя — Ая? Это две сестры: Ая и Тая. Ну, желаю успеха!

Мы разошлись по разным комнатам редакции. Примерно через час я шел один по длинному коридору «Правды». Вдруг кто-то нежно потрепал меня по плечу. Я оглянулся. Это был Петров. Он ласково улыбался и кивал мне. Я очень удивился. Евгений Петрович был чрезвычайно сдержан и даже суховат в обращении, он не баловал нас такими проявлениями симпатии.

Кратчайшей дорогой к его сердцу был труд, честная, добросовестная работа. Это я хорошо понял тогда. Речь идет, конечно, о принципах Петрова, а не о нашем доморощенном детище.

Зимой 1940 года Ленинградский Дом писателей пригласил меня и Слободского участвовать в очередном клубном дне. В гостинице «Астория» мы узнали, что рядом живет Петров, только что вернувшийся с финского фронта. Это было дня за два до мира с Финляндией. Мы зашли к Петрову. У него был грипп, температура за 38 , был он сильно простужен и утомлен. Лицо его не выражало ничего, кроме усталости. На столе стояли ваза с фруктами и бутылка легкого вина.

— Наливайте сами, вино хорошее,— тихо сказал Петров. Он лежал в кровати.

Слободской налил себе бокал.

— А вы? — обратился ко мне Петров.

— Простите, я не пью, Евгений Петрович. . .

В тусклых глазах больного зажглись коварные искорки.

— Может быть, вы и не курите? — спросил он, приподнимаясь на локте.

— Да, не курю. . .

— Да вы, кажется, и не женаты? — сказал Петров, садясь в постели.

Я не был тогда женат и честно сознался в этом.

— Товарищи! — сказал Петров громким, свежим голосом. — Товарищи! Прошу встать! Среди нас присутствует ангел! ! !

Было совершенно очевидно, что человек с таким запасом юмора не мог долго болеть.

Вскоре после того, как Петров был назначен редактором «Огонька», он вызвал нас к себе.

— Вам надо писать большую вещь, роман или повесть! — категорически заявил он. — Хватит бездельничать! Пишите, а я буду вас печатать в «Огоньке» с продолжением. Когда-то Кольцов вызвал меня и Ильфа и сказал нам то, что я сейчас говорю вам. И мы написали «Золотого теленка».

Мы сказали, что пишем пьесу, собираем новую книгу фельетонов и вообще работаем не покладая рук. Тогда-то и сказал нам Петров, что мы горим на работе, предварительно застраховавшись от пожара.

— Пьеса пойдет и пройдет, а книга останется, — сказал он еще. — Неужели у вас нет никакого сюжета?

Мы рассказали ему очень сумбурный сюжет комической повести «Сорок восемь Ивановых». Это был довольно грубый слепок с «Двенадцати стульев».

— Неважно, — сказал Петров. — Главное, пишите. Важна не рамка, а картина. Помните: вам надо писать большую вещь!

Мы так и не написали этой повести. Но это уже не вина Петрова. Он сделал все, что мог.

Я подхожу к концу своих записок, и мне хочется отдельно поговорить об Ильфе, которого я не знал, но чувствовал почти при каждой встрече с Петровым.

Для Петрова Ильф жил и после своей физической смерти.

«Ильф обычно говорил», «Ильф поступал так», «Ильфа это всегда возмущало», «Ильф это очень любил» — таковы были любимые фразы Петрова. Ощущение всегда было такое, будто Ильф куда-то надолго уехал, или болен, или спит в соседней комнате. И с каким уважением, с какой любовью произносил Евгений Петрович имя своего замечательного друга! Его блестящее предисловие к «Записным книжкам» Ильфа, такое лирическое и сдержанное, написано именно в этом тоне.

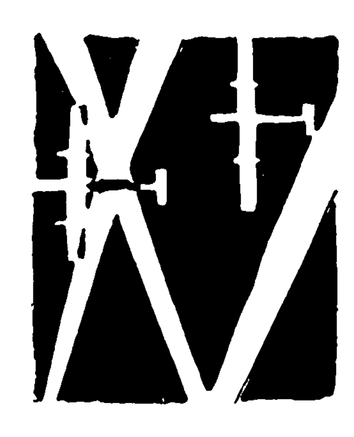
Последний раз я видел Петрова осенью 1941 года в Москве. Шла война, город бомбили каждую ночь. Я работал в литературной редакции «Окон ТАСС», делал тексты к плакатам. Петров много писал для заграницы, его там знали, и когда в Москву приехал известный американский писатель Эрскин Колдуэлл с женой, Петров был их добровольным гидом. Жену Колдуэлла, фотокорреспондента Маргарет Колдуэлл, заинтересовали «Окна ТАСС». Петров привел ее к нам. Он необычайно торжественно представил ей писателей и художников, делавших «Окна».

Я раскланялся как мог. Петров юмористически переглянулся со мной. Он был предупредителен и авантажен, с удовольствием водил гостей по редакции и всем видом своим как бы говорил: вы там себе думайте что хотите, а у нас тут люди работают.

Маргарет Колдуэлл сделала очень много снимков и, очаровательно улыбаясь, простилась с нами. Петров наскоро пожал мне руку, и больше я его уже не видел никогда. В сорок втором году я сначала не поверил слуху о его гибели — слишком живым помнил я его. Но знакомое красивое лицо в траурной кайме пронзительно взглянуло на меня с газетного листа.

Петров умер. Но живы бессмертные книги, написанные им вместе с Ильфом.

Вечно жива будет любовь читателей к Ильфу и Петрову. И я счастлив, что судьба подарила мне встречи с одним из самых любимых писателей.



ЕВГЕНИЙ КРИГЕР •

В ДНИ ВОЙНЫ

В «Известиях» до сих пор есть комната на пятом этаже, которую называют «казармой». Когда-то на дверях ее был наклеен вырезанный из бумаги петух очень свирепого вида и рядом столь же свирепая надпись из трамвайного лексикона: «Местов больше нет». Вместо нынешних редакционных столов в «казарме» стояли койки, в углу сохли валенки и портянки, на стенах висели трофейные немецкие автоматы.

Это было в ту пору, когда от Пушкинской площади до линии фронта можно было добраться на автомобиле за полтора-два часа. Каждый день в пять утра население «казармы» пробуждалось от сна и, облачившись в овчинные полушубки, отбывало в дивизии, чтобы далеко за

полночь вернуться назад и, терзая машинисток густым махорочным дымом, диктовать очередные, не очень веселые тогда корреспонденции с подмосковного фронта.

Однажды в эту комнату вошел человек, на которого свирепая надпись на двери не распространялась. Взглянув на петуха, он рассмеялся и сразу стал другом «казармы».

Это был Евгений Петров.

Час назад, во время очередной воздушной тревоги и страшной артиллерийской сумятицы в воздухе, он прилетел из Куйбышева в Москву и вот пришел к нам.

В нашу среду он сразу внес дух беспокойства и жадного любопытства к жизни — всюду, в редакции, в городе, на улицах, где строились тогда укрепления и горожане, подпоясав старенькие пальто ремнями, шли рыть окопы, а старухи, покрикивая на нерадивых, таскали железный лом и песок к баррикадам.

Как только Петров вошел в нашу «казарму», нам сразу стало некогда, мы заторопились, мы стали бояться опоздать, сами не зная куда. Мы не поняли — что же произошло, откуда явилось это странное ощущение беспокойства и даже какой-то вины перед окружающей жизнью. Мне это чувство было знакомо,— я и раньше дружил с Петровым и всякий раз, встречаясь с ним, тут же начинал спешить, мучиться тем, что время безвозвратно уходит и ты чем-то виноват перед временем и людьми.

Это было свойство Евгения Петровича: он рвался к жизни всем своим существом и заражал своим рвением всех, кто был рядом с ним. Ни с кем больше за всю свою жизнь я не испытывал того пленительного и вместе с тем тревожного ощущения своей нужности, необходимости, пользы, какое внушал людям Петров. Нужно было

немедленно, не теряя ни часа, за что-то приниматься, что-то очень важное делать,— иначе можно опоздать, и опоздать непоправимо.

Это чувство томительное, но оно похоже на счастье.

Тревогу и счастье одним своим появлением принес в нашу «казарму» Евгений Петров. Честное слово, каждый из нас почувствовал себя сразу в сто раз талантливее, чем были мы еще день назад. Это вызывалось отчасти тем жадным любопытством, доверчивой и в то же время взыскательной приязнью, с которыми Петров не то чтобы относился к людям, а буквально штурмовал людей.

Он в течение получаса расспросил нас обо всем, что только могло происходить в Москве и на фронте, предложил каждому с десяток новых тем, кого-то обязал думать над рассказом, кого-то ошеломил требованием готовить себя к роману, затеребил расспросами, когда же пойдет ближайшая машина на фронт, кто едет, кто согласится взять его с собой, и с той минуты мы на все месяцы общения с Петровым оказались в бурном водовороте его начинаний, радостей и тревог.

Мы стали видеть больше, чем видели до тех пор.

Он был писатель божьею милостью, нервами, зрением, а не только рукой, водящей пером по бумаге.

От его взгляда ничего не ускользало. Однажды мы целую ночь ехали с ним через лес, где блуждали остатки какой-то немецкой дивизии и всюду были напиханы мины, и мне казалось, что Петров страшно устал и спит всю дорогу и не видит страшного и прекрасного зимнего леса, а наутро в какой-то батальонной штабной избе, исхлестанной снарядами, он сам вдруг стал рассказывать о ночном лесе, да так, что такого леса не видел ни я, ни тысячи людей, прошедших через него в том бою. Он увидел в нем и великие, и горестные, и смешные подробно-

сти, а о лесной дороге, измятой машинами и снарядами, сказал так:

— По этой дороге, раздирая бока о деревья, прошел медведь войны.

И все сразу увидели эту дорогу в лесу.

Мы возвращались с ним из-под Волоколамска, то и дело выпрыгивая из машины при появлении низко летавших «мессеров», обжигавших фронтовое шоссе пулеметными очередями, и вдруг, глядя на советский бомбардировщик, летевший в сторону Москвы, Петров сказал:

— Вы заметили, что у самолета совсем другое выражение бывает, когда он летит на задание, в сторону немцев? Смотрите — у этого совсем веселый вид, как у мальчишки, который невредимым вышел из драки. А туда он летел сосредоточенный, тяжелый, насупленный.

Я посмотрел на самолет — и верно, у него был очень жизнерадостный вид.

Я никогда не забуду одного мужика, которым долго и весело восхищался Петров. Какие-то немецкие части ускользнули от нашего штурма под Малоярославцем, и это было очень обидно и командиру нашей дивизии, и солдатам, и Петрову, но тот колхозник был огорчен больше всех. Заметил его и уж навсегда запомнил, конечно, Петров. Размахивая руками перед командиром дивизии, колхозник твердил с укоризной:

— Эх, не так надо!.. Не так! Окружать его надо, в кольцо брать! Говорю — окружать обязательно надо, а то вот корову мою увел, а вы упустили, проклятого! Может быть, можно еще окружить?..

В тот день Петров был весел несказанно — и все благодаря мужику с его бедной коровой, но я никогда не забуду нахмуренного, сразу как-то осунувшегося от злобы и отвращения лица Петрова, когда мы впервые

присутствовали на допросе предателя, доносчика, деревенского полицая. Глядя на этого склизкого, провонявшего страхом и все еще сохранявшего надежду на жизнь мерзавца, Петров так извелся от внутренней муки, от стыда за то, что человек может превратиться в такое ничтожество, от душевной брезгливости, что, видимо, и жить ему не хотелось при виде этой человеческой падали.

Есть люди, которые способны сердиться, возмущаться, брюзжать.

Петров принадлежит к той высокой породе людей, которым свойственно чувство настоящего гнева.

Есть люди, говорящие так: «Это мне нравится, это приятно, это ничего себе».

Петров принадлежал к людям, обладающим способностью восхищаться — всем сердцем, безраздельно, счастливо, с упоением.

Это свойство очень чистых, очень молодых, очень хороших людей.

Таким мы любим Евгения Петрова.

Сталкиваясь с обывательским равнодушием, с глупостью, с мелочностью, с бесталанностью жизненной, наконец, Петров не сердился, нет, — он загорался чувством негодования, гнева и был страшен в эти минуты, мог наделать беды, мог растерзать виновника, ударить его чем попало или сам биться лбом об стену, лишь бы избавиться от муки великого гнева. Что-то монгольское бывало в такие минуты в его лице, дикое, неистовое и поистине человеческое.

Он был добр и отходчив. Он мог через минуту попросить извинения у человека, испытавшего на себе его гнев. Но он был злопамятен творчески. Рано или поздно маленький, глупый, равнодушный, бездарный и потому вредный для нашего дела человек бывал выставлен на-

показ, осмеян и уничтожен в фельетоне Ильфа и Петрова, ибо та же способность гражданского гнева, негодования и обиды за достоинство советского человека в высокой степени присуща была Илье Арнольдовичу Ильфу. Его я знал меньше, встречался с ним редко и потому рассказываю больше о Петрове.

Петров был талантлив необычайно, он был превосходным писателем, но очень простым, отзывчивым, быстро влюбляющимся в людей человеком.

Душевно он был очень молод — просто юноша. Было в нем что-то еще гимназическое — некоторая угловатость, свойственная подросткам, неукротимая горячность в дружеских спорах, ревность в дружбе, подчас наивность душевная, за которую влюблялись в него и старые и молодые.

То же чувство тревоги, беспокойства и какой-то даже вины своей перед временем Петров внушал и большим генералам, с которыми мы встречались на фронте. Они как-то даже оправдывались перед ним, когда он штурмовал их нетерпеливыми вопросами, — вот свойство человека до конца искреннего, увлеченного, жадно и активно устремленного вперед.

Он был другом нашей маленькой, пропахшей махоркой и сырыми валенками «казармы». Он всегда рвался к людям фронта. Даже вернувшись из поездки, усталый, замерзший, он с завистью смотрел на тех, кто на смену ему отправлялся к переднему краю.

— Может быть, мне тоже надо поехать с вами?

— Но вы же только сейчас вернулись оттуда.

— Все равно. Вдруг что-нибудь пропущу, все надо видеть. Знаете что, я поеду!

— А как же ваша корреспонденция?

— Ах, да! К сожалению, надо еще писать. Ужасная, ужасная у нас с вами профессия!

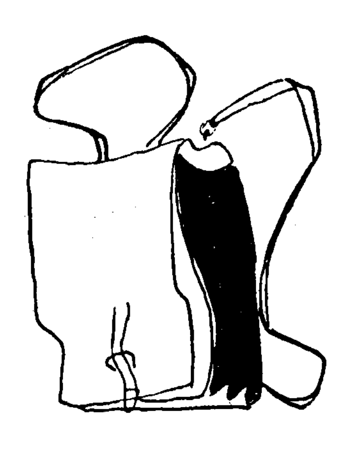
Но писал он горячо, увлекаясь и увлекая других, великодушно делясь своими наблюдениями, щедро подбрасывая их друзьям во время работы.

Контуженный взрывной волной от немецкой бомбы, он должен был некоторое время провести в постели, но все эти дни вызванивал нас к себе в гостиницу «Москва», жадно расспрашивал о положении дел на фронте и, едва поднявшись с постели, тут же укатил в дивизию.

Утром мы забрали в машину пачку свежих газет — на контрольно-пропускных пунктах военной дороги не было у нас лучшего пропуска, чем последний номер «Известий».

— Сегодняшний! — говорил Евгений Петрович.

И перед нашей видавшей виды машиной сразу открывался шлагбаум.



РУД. БЕРШАДСКИЙ •

РЕДАКТОР

К Евгению Петрову меня привел мой рассказ «Ночь». Написал я его в Ленинграде, во время блокады, в ноябре 1941 года. Это был рассказ о том, как капитан Козаченко, человек лет сорока, тоскующий по жене и детям, оставленным на Урале, едет с переднего края в командировку в Ленинград. Он никогда в жизни не видел Ленинграда. В кузове попутного грузовика Козаченко встречается с молодой женщиной, — в выходной день она отправилась в пригородную деревню, чтобы выменять коекакие вещички на картошку для своего ребенка. Выменять ей, конечно, ничего не удалось. Муж у нее на фронте. И Козаченко, — может быть, неожиданно для самого себя, — отдает ей весь свой небогатый паек. . .

Они добираются до города уже после комендантского часа. Ночного пропуска у Козаченко нет, деваться ему некуда. Женщина приглашает его к себе. В комнате у нее лютый мороз. Чтобы хоть немного согреться, они не раздеваясь ложатся на единственную кровать вместе, натягивают на себя все теплое, что есть в доме, и засыпают, как могли бы заснуть отец с дочерью. . . Вот и все. А утром эти совершенно незнакомые люди расстаются: она уходит на работу, он — в штаб фронта. . .

Таково было содержание этого рассказа, написанного в ноябре 1941 года. Опубликовать этот рассказ в Ленинграде в ту пору было негде. Ток в типографии отпускали только для печатания газет, последний номер литературно-художественного журнала «Звезда», вышедший в октябре 1941 года, был напечатан с помощью немногих оставшихся в городе сотрудников редакции, которые вместе с типографскими рабочими вручную вращали валы печатных машин.

В январе 1942 года я по вызову Политуправления прилетел из Ленинграда в Москву за новым назначением. Москва была непривычно пуста. Мне случалось наблюдать, как из целого поезда метро на станции «Дворец Советов» выходило пять—десять человек и столько же садилось, да еще в такое время дня, которое прежде именовалось часами пик!

С вещевым мешком за плечами я отправился к себе на квартиру, но еще с улицы увидел, что стекла во всех моих окнах высажены взрывной волной и крупный снег, чуть покружившись в проемах, плавно влетает в комнаты. Только в одной форточке неизвестно каким образом уцелело стекло.

Я поднялся на второй этаж, позвонил. Никто не ответил.

Нажал кнопку еще раз и долго-долго не отпускал.

Ключа у меня не было. Мои, конечно, увезли его с собой в эвакуацию. Я рассчитывал, что дверь откроет сосед.

Но он не откликнулся. Зато из смежной квартиры выглянула на площадку старушка. Я слабо помнил ее, она же узнала меня сразу и сказала, что сосед переведен на казарменное положение и наведывается в квартиру редко. Пригласила зайти к ней.

Однако я предпочел уйти. Что мне было здесь делать теперь?

И я отправился в гостиницу «Москва».

Странный быт царил тогда в этой гостинице. Во-первых, большинство ее постояльцев были москвичи — такие же, как и я, бездомные командированные. По временам все они набирали по телефону номера своих пустых квартир, и в трубке долго и безнадежно слышались протяжные, тоскливые гудки. . . Несколько раз проделал это и я, но и со мной не случилось чуда.

И еще — для постояльцев «Москвы» не существовало различия между днем и ночью. И днем и ночью к подъезду гостиницы подкатывали «виллисы», «эмки», полуторки, иной раз даже танки, спешно высаживали пассажира с таким же вещевым мешком, как мой, и забирали другого, уже поджидавшего их,— на Центральный фронт (штаб его все еще размещался в зоне подмосковных дач), на Калининский, на Юго-Западный. . .

Ни днем, ни ночью с окон вестибюля и холлов гостиницы не снимали черных штор из плотной ломкой бумаги: дни стояли короткие — стоило ли каждое утро расшторивать окна? Днем и ночью в коридорах встречались друзья, и далеко разносились их возгласы:

— Георгий, ты?! Живой?! А у нас прошел слух. . .

— Как видишь, слух сильно преувеличен. Гайдар у нас на фронте погиб. . .

— А ты случайно не знаешь подробностей его гибели? Ведь нам тут ничего не известно. . .

— Нам тоже, мы больше в тех местах не бывали. . . Но погиб он геройски — это сведения, полученные через разведчиков, а разведчикам рассказывали местные жители. Сведения точные. Колхозники даже похоронили его отдельно. И могилу обозначили. . .

Иногда вести были, наоборот, радостные. Отыскался Женя Долматовский. Попал в плен, но выкарабкался. Дважды бежал.

Кинооператор Борис Шер упросил пилота взять его в боевой вылет вместо стрелка-радиста. Шеру наспех объяснили, как обращаться со спаренными пулеметами, он дал слово, что понял все. В воздухе на самолет напал вражеский истребитель. Шер прекратил съемку, с ученическим старанием взял фашиста на прицел и первой же очередью сбил его! А затем успел еще заснять, как гитлеровец врезáлся в землю.

Шера наградили орденом Боевого Красного Знамени, а студия премировала его за первоклассные кадры.

Жил Шер тоже в «Москве» и ходил гордый, с новеньким орденом.

Вообще в этих коридорах в те месяцы можно было встретить очень много писателей, корреспондентов, кинооператоров — людей подвижных по самой профессии своей и в большинстве случаев связанных со столицей.

Не знаю, какие тогда выходили в Москве литературно-художественные журналы, — на фронт, во всяком случае, не попадал ни один. А из тонких изредка доходил до нас «Огонек». Подписывал его в качестве редактора Евгений Петров, но я видел по «Правде», что он активно

работает фронтовым корреспондентом, и считал, что в «Огоньке» он только числится по старой памяти.

Впрочем, какое это имело для меня значение? Я отнес свою «Ночь» в «Огонек». Адрес для ответа указал: гостиница «Москва», номер такой-то,— и предупредил секретаршу, что адрес это временный, так как я приехал в Москву за назначением и сколько здесь пробуду, не знаю.

В ту же ночь, часа в два (я лег уже спать), в дверь моего номера раздался громкий стук.

Я натянул штаны, намотал портянки и вбил ноги в сапоги,— это было делом секундным, кое к чему на фронте мы привыкали быстро,— и крикнул: «Входите!»

Но никто не откликнулся.

Я разозлился. Что за манера — будить человека среди ночи, а потом играть с ним в молчанку! Подскочил к двери и с силой распахнул ее.

Коридор освещался сороковаттной синей лампочкой. Она светила как бы шепотом, и я не узнал в ее рассеянном и чуть таинственном свете стоявшего за дверью высокого человека в военной форме, который, наклонив к двери голову, прислушивался. Бросилось лишь в глаза, что человек этот был очень аккуратно, по-воински подпоясан — ни складочки спереди на гимнастерке.

Заметив не успевшие исчезнуть с моего лица следы раздражения, он несколько смутился:

— Извините, вы, наверно, кричали: «Войдите!» Но я недавно контужен. . . Впрочем, что же я не представился? Давайте знакомиться. Вы Бершадский? А я Петров.

Действительно, передо мной стоял Петров. Как же я сразу не узнал его! Тон его был настолько обескураживающе прост и любезен, что я не на шутку смутился.

Должно быть, он понял мое состояние.

— Ну, раз я все равно к вам ворвался, извините еще и за то, что так поздно. Но, понимаете, целый день пришлось пробыть на фронте, ваш рассказ попал ко мне только сейчас, а когда я дочитал его до адреса, то увидел, что мы соседи. Зачем же откладывать разговор на завтра, если можно встретиться сегодня? Верно?

Я пригласил его войти. Он поблагодарил, по-прежнему откровенно и внимательно рассматривая меня. То ли я был ему чем-то интересен в эту минуту, то ли он вообще каждого нового человека так рассматривал.

— Слушайте, а ведь я не знал вас до сих пор,— заметил Петров.— Состояли в одной писательской организации, а ничего не читал из того, что вы писали, не знал, чем вы дышите. Глупо ведь? Даже хуже: безобразие! Но зачем же нам сидеть у вас? У вас, я вижу, ничего нет, а я живу по-хозяйски, как средний буржуа: у меня роскошный черный кофе, собственный кофейник. Вы любите кофе? Идемте!

Через пять минут я уже пил свежий кофе в комнате у Петрова и чувствовал себя так, будто был знаком с Евгением Петровичем всю жизнь.

А он все донимал меня:

— Ну что вы молчите? Вы рассказывайте: что в Ленинграде? Как там народ? Это же какие-то совершенно невообразимые люди. Как они выдерживают? Я бы не мог, честное слово!

Мне не хотелось рассказывать об ужасах блокады. Теперь я понимаю: это была защитная реакция. Я только-только уехал тогда из Ленинграда, все виденное и пережитое там не оставляло меня ни на минуту; я вскрикивал и метался во сне, вспоминая то старушку, которая была застигнута на Литейном проспекте фонтаном, неожи-

данно забившим из лопнувших труб водопровода, и так, с хозяйственной сумкой в руке, и вмерзла в ледяную глыбу, то еще что-нибудь подобное. . .

Да и знал все это Петров. Из стихов Ольги Берггольц, из рассказов Николая Семеновича Тихонова, из выступлений по радио Всеволода Вишневского.

— А они там как? Всеволод, Николай Семенович, Ольга. . . не знаю ее отчества. . .

— Федоровна. Да как все. Живут на казарменном положении. Тихонов — в Смольном, Всеволод — при штабе флота, Ольга — в Радиокомитете.

— Это рядом с «Гастрономом»?

— С бывшим «Гастрономом». В его подъезде теперь книгами торгуют.

— Книгами?

— Да. С лотка.

— И книги покупают?

— Еще бы!

— Нет, вы — правду?

— Что за вопрос, Евгений Петрович! Конечно! А что вас удивляет? Ведь блокада помешала вывезти из Ленинграда тиражи превосходных книг. Их можно купить свободно, без всяких трудностей. Ясно, что берут. Еще как!

— Нет, вы, должно быть, все-таки не понимаете, что это такое. Простите меня, но не понимаете. Это же. . . Это же. . .

Он не мог найти слова. У меня было преимущество перед ним: он только представлял себе все это, я же видел воочию. И тогда я рассказал ему еще одну историю о книгах,— кстати, долго потешавшую всех нас, постояльцев ленинградской «Астории».

«Астория» была подобием здешней «Москвы». Там

тоже обитали по преимуществу ленинградцы — актеры, писатели, сотрудники газет, столовался почему-то дирижер Элиасберг, впоследствии прославившийся тем, что сумел, несмотря ни на что, собрать в осажденном городе симфонический оркестр Филармонии и впервые исполнить с ним знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича.

«Астория» обладала одним громадным преимуществом. Тому, кто сдавал в ресторан свой паек, дополнительно выдавали, сверх положенной порции супца и кашицы, сваренных на чистой воде, конфету — роскошную черносливину в настоящем шоколаде! Из-за этого устроиться на питание в «Асторию» было почти невозможно. (Элиасберг уносил конфету жене. Всякий раз он подолгу рассматривал конфету своими близорукими глазами и нежно взвешивал ее на ладони, но я ни разу не видел, чтобы он даже развернул ее. Ни разу!)

Я останавливался в «Астории», когда приезжал в Ленинград с фронта. И однажды с грустью рассказал в присутствии Элиасберга и артиста Тенина, что зашел сегодня в букинистическую лавку на Литейном и увидел редкость, за которой охотился в Москве несколько лет, вплоть до самой войны, полного «Рокамболя» Понсон дю Террайля. В идеальном состоянии! И всего за восемьсот рублей!

Тенин, ярый книжник, живо заинтересовался:

— Ну? И купили, конечно?

Мне было очень грустно признаться, что нет. Куда мне с ним на фронт — все-таки десятки томов! Будь я ленинградцем, тогда другое дело. . .

Тенин вздохнул:

— Жаль. . . А я-то обрадовался. . . Это ведь мой «Рокамболь», это я его на комиссию сдал. . .

Анекдоты мне было рассказывать приятней. Петров понял меня и перестал расспрашивать о серьезном.

Правда, и анекдоты были не из веселых.

Я рассказал Петрову о забаве постояльцев «Астории»:

— Иногда, когда чувство голода становилось совсем уж непереносимым. . .

Петров прервал меня:

— Слушайте, а наверно, это очень постыдное чувство, когда забирает человека целиком и превращает его в животное, способное думать только о брюхе? Верно?

— К сожалению, бывает и так,— согласился я.

— Но я вас прервал,— извинился Петров.— Так вы остановились на том, что когда чувство голода делалось совсем уже непереносимым. . .

— Да. Тогда мы начинали играть в такую игру: придумывать, кто какой ужин заказал бы. И обед. И завтрак. И со всеми подробностями, каждую деталь отдельно: на холодной или подогретой тарелке положено подавать выбранное блюдо, и какой к нему идет соус — белый, сметанный, или томатный с перчиком, или гранатовый сок; и как должно быть изжарено мясо — до какого цвета и целым куском или ломтями; и баранина ли это будет, вымоченная в вине, или телятинка, или филе; и какое именно вино для мяса взять; или, может быть, вообще дичь. . .

— Это же садизм — подвергать себя таким пыткам! — закричал Петров.

Он был, разумеется, прав. Но разве мы сами там, в Ленинграде, не знали этого? Не знали, что такая игра — малодушие? Знали. Но вот Петров подумал, что она нас забирала целиком, и в этом он ошибся. Мы даже вовсе прекратили ее после одного эпизода,— я, во всяком случае, что-то не помнил, чтобы мы после него

затевали ее хоть раз. И я рассказал Петрову об этом. Вероятно, в оправдание.

Вернулась как-то с шедшего в воинском клубе выездного спектакля Сухаревская и, попеременно останавливаясь своим удивленным взглядом на каждом из нас, словно ища у нас объяснений тому, что с ней произошло, рассказала следующую историю.

На спектакле ей по пьесе надо было играть в легком газовом платье. Температура в зрительном зале стояла минусовая, и даже грим не способен был скрыть, как белели у актеров носы, щеки, подбородки, уши. Когда по ходу действия ей следовало приникнуть лицом к партнеру, она никак не могла оторваться: все потихоньку терлась о его плечо носом и подбородком. . .

В антракте к ней в уборную постучался какой-то капитан и протянул ломоть хлеба и меховой офицерский жилет, видимо снятый с себя.

— Лидия Павловна,— сказал он,— вы уж извините меня, мы с вами не знакомы. . . Но я вас знаю по сцене уже много лет и очень люблю. Прошу вас, наденьте жилет. . . Если хотите, я сам выйду к публике и объясню, чтобы никто на него не обращал внимания,— ведь все понимают, каково вам играть. . .

Сухаревская съела пол-ломтя у него на глазах — он настоял на этом, боясь, что она отдаст хлеб кому-нибудь из близких,— но жилет все же не надела: разрушился бы образ героини. . .

После этого капитанского ломтя хлеба мы как-то незаметно для самих себя перестали придумывать, какой бы выбрали ужин или обед. . .

— Скажите, а почему вы принесли в «Огонек» только один рассказ? — неожиданно спросил Петров.

— То есть как почему один? Я вас не понимаю.

— Что ж тут непонятного: вы просто не захотели дать нам какие-нибудь другие ленинградские рассказы или он у вас единственный?

— Нет, есть и другие. Но я решил, что наиболее подходящий для «Огонька» — этот.

— И, по-моему, ошиблись. Конечно, мне трудно настаивать на своем мнении: вы были в Ленинграде, я — нет. . . Но я так думаю. И убежден, что прав. Понимаете, вот я послушал вас, узнал о будничных делах,— об этом нигде пока что не прочтешь,— но они рисуют мне Ленинград не менее величественным, чем подвиги, о которых сообщает Совинформбюро с Ленинградского фронта. А история о том, как капитан не тронул девушку, которая позвала его в дом. . .

Я прервал его:

— Но почему, Евгений Петрович. . .

— Нет, вы послушайте: ведь те, кто не слышал того, что вы мне только что рассказали, ведь они скорее всего усомнятся в том, что все это было действительно так, как вы описали. И они тогда знаете что подумают? В окопе под Смоленском, на аэродроме под Харьковом, на подводной лодке в открытом море. . . «Ах, так! Я здесь мучаюсь, а моя в эту самую минуту какого-то замерзшего привечает в своей постели? . .» А зачем им такие мысли сейчас подбрасывать, как вы думаете, а? И как вы полагаете: помогут сегодня нашим людям эти самые мысли? Воевать помогут?

Я честно попробовал еще раз представить себе все, как это было у меня описано, и, несмотря на опасения Петрова, все-таки не смог согласиться, что нарисованное мною способно породить хоть одну нечистую мысль. Но Петров, который судил обо всем по моему описанию, был,

вероятно, прав. Не хватало, значит, в моем рассказе убедительности.

Неожиданно он положил большую свою ладонь на мое колено и легонько пожал его.

— Не знаю, найду ли я слова, чтобы убедить вас,— сказал он, глядя на меня широко распахнутыми, горячими глазами,— но лично мне представляется неоспоримым, что есть какие-то темы, которые сегодня вообще не надо трогать. Ни за что, будь ты хоть семи пядей во лбу! И дело тут не в таланте. Литературе не может быть безразлична своевременность или несвоевременность выбора темы. Не может! Это как выбор направления главного удара!

Я невольно улыбнулся.

— Чему вы улыбаетесь? — настороженно спросил он и тотчас снял с моего колена руку.

— Да так, Евгений Петрович. Вам мало, что вы бракуете мой рассказ,— вы хотите, чтобы и я участвовал в этом.

На лице у Петрова появилась улыбка — молодая, веселая.

— Ничего подобного! Вовсе я не бракую ваш рассказ,— наоборот! Даю вам клятвенное обещание, что напечатаю его в первом же номере журнала, который выйдет под моей редакцией по окончании войны. Согласны? А пока вы отберете для «Библиотечки «Огонька» другие рассказы в знак того, что верите мне, и вручите их завтра же. Я не без умысла спросил вас с самого начала, что у вас есть еще.

В нашу беседу неожиданно вмешался телефон. Он стоял на столе в противоположном углу, и Петров стремительно поднялся к нему. Должно быть, ему, как всем

глуховатым людям, показалось, что он не услышал первых звонков.

Была уже половина пятого, но на другом конце провода, видно, не удивились, что хозяин номера бодрствует.

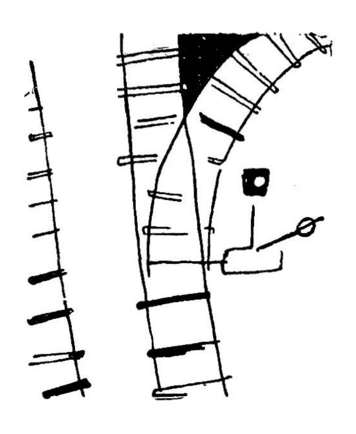
Звонили из «Правды» — я понял это по репликам Петрова — и просили немедленно приехать.

Я поднялся, чтобы уйти. Петров на мгновение прикрыл мембрану рукой и сказал:

— Значит, договорились? До завтра!

Но завтра мне уже не удалось с ним встретиться. Сборник своих рассказов я оставил секретарше «Огонька» — редактор журнала, как она мне объяснила, утром выехал на передовые, на направление главного удара. А к вечеру я и сам получил новое назначение...

Месяца через два мне прислали из «Огонька» на Калининский фронт мою книжечку «Рассказы о войне». На обороте титульного листа стояло: «Отв. редактор Е. Петров». А спустя еще немного времени, развернув в блиндаже под Ржевом фронтовую газету, я увидел имя Петрова в траурной рамке...



КОНСТАНТИН СИМОНОВ •

ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Это не статья и не воспоминания,— это просто несколько страниц из дневника, касающихся чудесного товарища и попутчика на фронтовых дорогах, человека, потерю которого я (наверное, как и многие другие) все еще не могу себе представить.

Нигде так быстро не узнаёшь человека, как на фронте. И мало того, что узнаёшь близко,— главное, что узнаёшь верно, таким, как он есть на самом деле.

Мне пришлось пробыть с Евгением Петровичем Петровым бок о бок всю его последнюю фронтовую поездку, из которой вернулся он,— поездку на Север. Мне хочется рассказать об этом месяце, проведенном с ним вме-

сте, потому что хотя до этого я был знаком с ним несколько лет, но узнал его по-настоящему только здесь.

Поезд идет в Архангельск. Мы едем втроем и потому не скучаем. На одной из станций Евгений Петрович случайно встречает тоже едущего на Карельский фронт знакомого. Через полчаса знакомый перетащен уже в наш вагон, еще через пять минут он уже сидит у нас в купе, ему уже весело и уютно, и они, вдвоем с Петровым, смеясь, принимаются за мелкое дорожное портняжество.

Через сутки станция, на которой сходить знакомому. Лес, маленький перрон и перспектива прождать сутки до пересадки. Мы едем дальше. Знакомому грустно расставаться с нами и не хочется вылезать на этой станции, где он не знает ни души.

Мы прощаемся с ним в вагоне, но Петров выходит на платформу, стоит там с ним до самого отхода поезда, потом вскакивает на подножку и еще долго машет фуражкой. Мы едем дальше вместе, а знакомый остался один, Петрову не хочется, чтобы человеку было неуютно.

Архангельск. Мы задерживаемся на сутки в ожидании дальнейших средств передвижения. Вечером мы идем по городу. На улицах много грязи, они запущены. У пристаней свален мусор.

Завтра нам, очевидно, предстоит уезжать на фронт, и, казалось бы, нам мало дела до архангельского коммунального хозяйства. Но Евгений Петрович не может говорить ни о чем другом. Он рассержен. Ему очень нравится этот северный город, и поэтому его особенно раздражают неряшливость и грязь.

Он говорит о том, как просто все это убрать и привести пристани в приличный вид. Потом мы проходим целый квартал в молчании Но Евгений Петрович, оказывается обдумывавший, как следует приводить город

в порядок, добросовестно начинает развивать план этого мероприятия. Потом он вдруг спрашивает:

— Как вы думаете, мы завтра уедем наверняка утром?

Я говорю, что, может быть, и вечером.

— Если вечером,— говорит Петров,— то я напишу фельетон в нашу газету.

Он не говорит «обязательно напишу» или «непременно напишу», как обычно говорим мы, а просто говорит «напишу» — это у него всегда значит обязательно.

Фельетон обдуман и назначен час прихода в газету. Встреча не состоится только потому, что мы уезжаем на рассвете.

— Если будем возвращаться через Архангельск, — говорит Евгений Петрович,— все равно напишу.

Один участок пути мы едем в санитарном поезде, в кригеровском вагоне для тяжелораненых. Сейчас вагон пуст. Петров просит проводника поднять подвесные койки и, примериваясь, ложится на одну из них.

— А им низко лежать, видимо. Голова низко.

Проводник показывает, как поднимается изголовье.

— Ну а выпасть они не могут?

Проводник прилаживает приспособление, предохраняющее от этого.

Петров внимательно следит за ним и задает еще несколько вопросов, касающихся удобств, которыми обеспечены раненые в этом вагоне. Получив ответы, он присаживается к столику и, дружелюбным взглядом окинув вагон, говорит удовлетворенно:

— Хороший вагон, удобный.

И видно, что ему очень нравится этот вагон, в котором все приспособлено так благоразумно, что ни к чему не придерешься.

На перепутье мы проводим несколько часов во фронтовой газете. Поэт Коваленков работает уже двенадцатый месяц безвыездно на этом отдаленном участке фронта. Коваленков не говорит об этом, но Петров чувствует, что человек страдает оттого, что стихи его не доходят до Москвы, до товарищей по литературе, что некоторые из них написаны не для газеты и просто остаются лежать у него. Петров требует, чтобы он непременно тут же прочитал стихи, и, не откладывая в долгий ящик, договаривается об издании книжки в библиотечке «Огонек».

Мурманск. Переправившись через залив, мы едем по дороге, идущей к линии фронта. Неисправности в машине. Метет мокрая весенняя метель. Нам приходится посидеть час в крошечной землянке регулировщика.

Телефонист, согнувшись над крохотным столиком, сообщает вперед и назад по линии количество прошедших машин. Регулирование движения тут, видимо, поставлено хорошо, и, кроме того, хитрый телефонист при помощи несложного приспособления так ловко устроился с телефоном, что при разговоре у него свободны обе руки, для того чтобы вести запись проезжающих машин.

Петров очень доволен.

— Вот и молодец,— говорит он, выходя из землянки.— Мелочь, а насколько удобнее работать! Ох, как часто у нас не хватает именно вот такой пустяковой сообразительности!

С того места, где кончается автомобильная дорога, до штаба части нам приходится шесть или семь километров идти через скалы с проводником. Идти довольно трудно, особенно с непривычки.

Мы с проводником налегке, в фуфайках, а Петров в шинели. Кроме того, у него тяжеленная полевая сумка с обстоятельно упакованными предметами первой

необходимости и фляга. На подъемах он задыхается — дает себя знать не особенно здоровое сердце.

По праву молодости, сначала я, а потом наш проводник уговариваем Петрова отдать нам хотя бы сумку и фляжку. Но все уговоры напрасны. Пыхтя и отдуваясь, Петров все-таки сам с «полной выкладкой» добирается до штаба и там, освободившись от всей амуниции, говорит еще с легкой одышкой, но с заметным торжеством в голосе:

— Вот и все в порядке, и дошел, и не отстал. И очень правильно. А то все привыкли на Западном на машинах да на машинах. А здесь и пешечком, а все-таки выходит.

В этих словах чувствуется удовольствие от того, что ни пятнадцать лет разницы, ни больное сердце, ни отсутствие такого рода тренировки не могут ему помешать ходить и лазать наравне с молодыми.

Петров сам был человеком точным и предельно увлеченным своим делом, и на фронте при самых разных обстоятельствах ему всегда особенно нравились люди точные, отвечающие за свои слова. И наряду с этим ему нравился тот особенный азарт, который рождается у людей любовью к своей профессии, к своему роду оружия.

Я помню, его привел в восторг начальник артиллерии, немолодой полковник, который вместе с нами карабкался на наблюдательный пункт, расположенный на гребне горы со странным названием Зубец.

Полковник лез на свой собственный наблюдательный пункт так, словно он собирался являться к командующему армией: шинель у него была застегнута на все пуговицы, сапоги начищены, ремни аккуратно натянуты, а в левой руке он бережно нес большой, канцелярского вида портфель. Даже когда приходилось карабкаться, цеп-

ляясь одной рукой за камни, он ни на минуту не выпускал этого портфеля.

Это было очень неудобно в пути, но зато, когда мы поднялись на вершину и полковник стал рассказывать обстановку, то вытянутые из портфеля карты не представляли из себя какой-то свернутой грязной пачки бумаги, которую обычно вытаскивают из планшета: карты были аккуратны, они, можно сказать, сияли свежестью, и все на них было нанесено точно и красиво, как будто на экзамене по черчению.

Петров потом с удовольствием вспоминал этот портфель и даже, если не ошибаюсь, написал о нем в одной из своих корреспонденций в Америку.

Но особенно мне запомнился наш следующий приход на этот же наблюдательный пункт. На этот раз мы были здесь с моим старым знакомым — подполковником Рыклисом, человеком, влюбленным в артиллерию и известным тем, что он добился от своих артиллеристов прямо-таки снайперской стрельбы.

Подполковник корректировал огонь нескольких батарей. Время от времени он уступал нам свой восьмикратный бинокль, в который были видны немецкие укрепления и передвижение немцев по дороге.

Это было очень далеко, и в бинокль часто было трудно отличить серые пятна дзотов и дотов от серых валунов. Холодный ветер обжигал пальцы, и я, грешным делом, иногда не разобрав толком, говорил, что уже вижу, хотя и не был вполне уверен, дот ли я вижу или камень.

Но Петров со свойственной ему добросовестностью подолгу смотрел и упрямо говорил, что он не видит, до тех пор, пока и в самом деле не находил в поле бинокля того крохотного пятнышка, на которое обращал наше внимание подполковник.

Вдруг посередине этого занятия одна из немецких батарей, очевидно обнаружившая наблюдательный пункт, начала вести по нас огонь.

Вершина горы, на которой мы сидели, была гладка, как стол, а сам наблюдательный пункт представлял из себя круглую стенку, сложенную из камней до половины человеческого роста и сверху ничем не закрытую.

В этих условиях, когда после первой пристрелки снаряды один за другим стали ложиться то впереди, то сзади совсем близко от нас, дальнейшее пребывание на наблюдательном пункте представлялось не слишком приятным занятием.

Подполковник дал несколько команд с целью подавить немецкую батарею, но она все еще продолжала стрелять. Тогда подполковник, повернувшись к нам, посоветовал спуститься вниз.

Петров пожал плечами.

— А для чего же мы шли? — сказал он.— Мы же для этого и шли.

И в его глазах я увидел то же самое выражение азарта, какое было у подполковника.

Я понял, что Петров почувствовал себя в эту минуту артиллеристом. Ему посчастливилось присутствовать при артиллерийской дуэли, и он не мог уйти отсюда, потому что ему было очень интересно.

Подполковник, перестав обращать на нас внимание, всерьез занялся немецкой батареей. Он во что бы то ни стало решил подавить ее. Команды следовали одна за другой, потом пауза — и снова то спереди, то сзади, то слева, то справа от нас рвались немецкие снаряды.

В неприятные минуты опасности как-то всегда, желая

себя правильно вести, наблюдаешь за тем, как ведут себя другие. Мне очень хорошо запомнился в эти минуты Петров.

Он был совершенно увлечен дуэлью и, видимо, старался понять систему, по которой подполковник делал поправки и корректировал стрельбу. Петров старался понять, как это все происходит, и я видел, как несколько раз он порывался спросить подполковника, очевидно стремясь до конца войти в курс дела, но в последнюю секунду удерживался, не желая мешать работе.

Один снаряд упал совсем близко от нас, второй — еще ближе впереди, и стереотрубист, флегматичный украинец, сказал ленивым голосом:

— Ну вот, теперь он нас, значит, в вилку взял. Тот — сзади, этот — впереди, теперь акурат в нас будет.

В ответ на это малоутешительное заявление, несмотря на серьезность минуты, Петров рассмеялся и шепотом, наклонившись к моему уху, сказал:

— Как вам нравится этот стереотрубист? Как ни странно, такая форма пророчества успокаивающе действует на нервы, а? — И он снова рассмеялся.

Этот смех не был нервным смехом бодрящегося человека, Петрову действительно понравилось спокойствие украинца.

Дуэль продолжалась. Несколько раз после залпов наших батарей подполковник прислушивался и говорил:

— Ну, больше не будет.

Но немцы, к его негодованию, снова посылали очередной снаряд.

В одну из таких пауз Петров опять рассмеялся.

— Что вы смеетесь? — спросил я.

— Ничего, потом скажу.

Наконец немецкая батарея была подавлена, и мы спу-

стились под гору, в палатку подполковника. Там, присев у железной печки на покрытые плащ-палаткой кучи хвороста, мы закурили.

— Знаете, почему я смеялся? — сказал Петров.— Только не обижайтесь, товарищ подполковник. Мне на секунду во время этих пауз вспомнилось, как мы мальчишками норовили последними ударить друг друга, ударить и крикнуть: «А я последний!» Было что-то такое в вашей артиллерийской дуэли от этих мальчишеских воспоминаний. Как по-вашему?

И подполковник, несмотря на абсолютную серьезность только что происходившего, почувствовал юмор этого сравнения и также рассмеялся.

Мы возвращались обратно в сильнейшую пургу, небывалую по силе в это время года, в мае. Из-за пурги два или три раза нам пришлось отсиживаться там, где мы совсем не предполагали задерживаться. И здесь я понял то свойство Петрова, из-за которого с таким интересом читались многие его корреспонденции и из-за которого с таким интересом слушались его рассказы о виденном на фронте,— слушались даже теми, кто сам много видел и сам бывал в тех местах, о которых говорил Петров. Любой час, проведенный на фронте, никогда не казался ему потерянным временем. Он не был прямолинеен в своих наблюдениях; его интересовало все, что он видел, все детали, все мелочи фронтовой жизни.

— Вы же не понимаете, как все это интересно,— часто говорил он.— Вы проходите иногда мимо самого любопытного. Можно сказать редакции, что я напишу то-то и то-то, но никогда нельзя сказать этого себе. Вы, уезжая, никогда не можете сказать, что вы увидите и о чем сможете написать. Иначе, если вы поедете с готовым под-

ходом, с готовой меркой, с готовым кругом интересов, вы пропустите много чрезвычайно важного.

Он упорно повторял это и не на шутку сердился, когда с ним не соглашались. У него абсолютно отсутствовало то безразличие — послушают тебя люди или нет,— которое часто есть в нас. Если он что-то считал правильным, он обязательно хотел убедить своего собеседника в том, что это правильно, и хотел добиться, чтобы его собеседник, убедившись, сам делал это правильно — так, как это нужно делать. Его расстраивало, когда люди, даже далекие от него и, казалось бы, безразличные ему, делали что-то не так, неправильно жили или работали,— расстраивало потому, что, в конце концов, ни один человек, с которым он сталкивался, не был для него безразличен.

На обратном пути в машине произошел шумный спор с фотокорреспондентом Кноррингом, ехавшим с нами.

— Нет, вы скажите: почему вы на войне снимаете только войну и не хотите снимать жизнь? — кричал Петров.— Почему? Ведь люди же не только воюют, они и живут.

Кнорринг отвечал, что наша редакция неохотно печатает бытовые снимки с войны.

— А вы бы сами хотели снимать? — спросил Петров.

— Да.

— Так вы докажите, что это правильно,— это ваш долг. А не напечатают в газетах, я напечатаю у себя в «Огоньке» полосу,— нет, целый разворот фотографий напечатаю о военном быте. Извольте мне их сделать. Я знаю, почему вы не хотите снимать быт. Вы боитесь, что, если привезете много бытовых снимков, скажут, что вы сидели по тылам. А вам должно быть наплевать, что о вас скажут, вы должны делать свое дело. Я вот

приеду и напишу специально о быте, и пусть думают, что хотят — в тылу я видел или не в тылу. А я напишу, раз я считаю это правильным.

На вынужденных из-за метели остановках Петров много и дотошно расспрашивал о самых разных вещах и потом, вспоминая об этих как будто внешне малоинтересных разговорах, делал из них неожиданные, острые и интересные выводы.

— Вот мы с вами полдня просидели из-за метели в штабе. Вы скучали, а я наблюдал за полковником, начальником штаба. Вы знаете, по-моему, он прекрасный человек и, наверное, хороший солдат. Было очень интересно наблюдать за ним. С утра он был один в штабе, а потом приехало высокое начальство, так? А потом оно уехало, он опять остался один. Но что интересно? Интересно то, что он весь день, и до приезда начальства, и во время его пребывания, и после его отъезда, вел себя совершенно одинаково — одинаково двигался, одинаково говорил, был одинаково спокоен. Он не волновался, ожидая, не суетился, принимая, и не вздыхал с облегчением, проводив. Это значит, что в нем есть большое чувство собственного достоинства, что он уверен в том, что правильно делает все, что он делает, что ему не за что волноваться ни перед кем. Это хорошо, это не все имеют, и об этом нужно где-то написать. А вы вот сидели и скучали, ждали, когда же можно будет ехать дальше. Это неверно. Ну, скажите: ведь неверно?

И он добивался того, чтобы его собеседник сказал, что действительно неверно.

На фронте мы все, за очень редкими исключениями, стали хорошими товарищами. Этому товариществу научила нас война. Но Петров был особенно чудесным товарищем и попутчиком.

Он умел интересно говорить и внимательно, превосходно слушать. Война занимала все его мысли. И он любил говорить о ней. Но о лично пережитом, о всяческих военных событиях и эпизодах, свидетелем которых он был, он говорил всегда с удивительным тактом. Он хорошо понимал, что все, с кем ему приходится разговаривать, тоже бывали в переделках, видели и кровь и опасности, что им были знакомы чувства риска и страха, и поэтому, рассказывая, никогда не останавливался на своих переживаниях, не говорил «я пошел», или «мы лежали под огнем», или «в это время как ударит рядом мина»,— нет, он говорил о виденном только то, что могло быть интересно всем, то, что казалось ему любопытным, забавным, смешным. И когда один из наших попутчиков, человек храбрый и хороший, но имевший привычку злоупотреблять рассказами о том, как они лежали, как шли и как по ним стреляли, начинал разговор на эти темы, Петров с комическим ужасом поднимал руки и со своей милой, лукавой улыбкой говорил:

— Опять боевые эпизоды!

Это было нисколько не обидно, но забавно и убедительно, и рассказчик тотчас же смолкал.

Вообще же Петров был очень внимателен и чуток к людям.

Уже перед самым отъездом с Севера мы были на базе подводного флота. Одна «малютка» только что вернулась из удачного, но тяжелого плавания. В непосредственной близости от нее разорвалось около трехсот глубинных бомб, в ее корпусе было несколько десятков вмятин и течей. По традиции подводников, после прихода на базу внутрь лодки пригласили командира бригады, а заодно и нас с Петровым.

В тесноте, да не в обиде был устроен на скорую руку «банкет» из оставшихся после похода продуктов. Жестяные кружки с водкой и консервы передавались из рук в руки. Люди сидели буквально друг на друге, но было шумно и весело.

В разгар веселья кто-то уронил кружку, она с грохотом упала. И вдруг сидевшие за столом подводники, люди испытанной храбрости, вздрогнули. Это был рефлекс: только что двадцать четыре часа подряд они слышали грохот взрывов, они измучились до предела и едва держались на ногах от усталости.

После банкета молодой моторист потащил Петрова в свой отсек и стал ему там что-то показывать. От огромного напряжения и усталости, выпив всего сто граммов водки, он был уже не совсем трезв и со страшной тщательностью старался показать и дать пощупать Петрову непременно все до одной вмятины, которые были в его отсеке.

Петров добросовестно ползал и лазал с ним в разные закоулки лодки, ударяясь о всякие приборы. Продолжалось это примерно полчаса.

Наконец я не выдержал и постарался выручить Петрова.

— Подождите,— сказал он почти сердито,— подождите, я еще не все посмотрел.

И он лазал с мотористом еще пятнадцать минут, пока тот не был полностью удовлетворен. Когда мы вышли на воздух, Петров сказал мне:

— Как вы не понимаете! Конечно, мне незачем было смотреть все эти вмятины. Но этому парню так хотелось показать их мне непременно все и рассказать о том, как они пережили эти последние кошмарные сутки. Разве я мог его торопить?

Я понял, что по-человечески, конечно, он был прав, а не я.

Мы летели обратно в Москву белой северной ночью. Километров шестьсот самолет шел вдоль линии фронта. Евгений Петрович сначала дремал, а потом, удобно пристроившись в уголке, взял у меня томик Диккенса «Приключения Николаса Никклби» и с увлечением стал читать его.

Полет окончился благополучно. А через одну-две недели вечером в «Москве» Евгений Петрович зашел ко мне в номер, сказал, что, очевидно, завтра утром летит в Севастополь, и спросил, нет ли у меня плаща. Я достал ему плащ.

Померив плащ, он, улыбнувшись, сказал:

— Ну, если вы гарантируете неприкосновенность мне, то я гарантирую неприкосновенность вашему плащу. В общем, или не ждите никого, или ждите нас обоих.

Это была последняя шутливая фраза, которую я от него услышал, и последняя улыбка, осветившая его умное, лукавое лицо.

И. ИСАКОВ •

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ

Евгения Петрова настолько хорошо знают и любят у нас и за рубежом, что было бы нескромностью с моей стороны пытаться нарисовать портрет этого обаятельного человека, писателя, коммуниста и участника Великой Отечественной войны.

Если я все же рискнул предложить свои воспоминания о нем для мемориального издания, это можно оправдать только тем, что мне пришлось несколько последних часов жизни Евгения Петровича пробыть рядом с ним и видеть его в центре трагических событий, волновавших в те дни всех советских людей.

Речь идет о судьбе Севастополя и лидера «Ташкент»,

на котором Петров участвовал в прорыве блокады на пути из Новороссийска в Крым и обратно.

Неизбежность и обязательность цензуры во время одного из наиболее тяжелых периодов войны была естественной. Но, делая свое дело, цензура закрыла от советских читателей плотной завесой многие мысли и чувства писателя о виденном и пережитом в июньские дни 1942 года. Та же цензура схоронила виденное и пережитое спутниками Петрова, которые находились вместе с ним на лидере «Ташкент», в Севастополе, в Новороссийске, Краснодаре и, наконец, при перелете в Москву, который оказался для Евгения Петровича роковым.

Только в самые последние годы в литературе мемуарного и исторического характера появились некоторые отрывочные упоминания о событиях тех дней, которые в свое время были известны только немногим свидетелям [1].

После первой зимней кампании мы твердо знали, что гитлеровский план так называемого «блицкрига» полностью провалился. Еще бóльшим открытием, особенно неожиданным не столько для советских войск, сколько для немецких полчищ, увлеченных на восток, явился разгром их главной ударной группировки под Москвой.

Оказалось, что вермахт, прославившийся сравнительно легкими победами на Западе, умеет не только отступать по плану, но и беспорядочно бегать на сотни километров, чтобы избежать массового пленения. При этом Геббель-

---

[1] В качестве примера можно привести брошюру И. И. Азарова «В боевых походах», выпущенную в 1961 году в Библиотечке журнала «Советский воин».

совы ссылки на мороз и на общность судеб гитлеровских дивизий и наполеоновской армии не вызывали доверия даже в глухих немецких деревнях.

И все же, несмотря на историческую победу и вызванный ею подъем, к началу кампании 1942 года тревожные мысли беспокоили многих из тех, кто знал обстановку.

Враг был еще очень силен. И поскольку ему необходимо было спасать не только военный престиж Гитлера и германского генерального штаба, но и политическое лицо всей системы фашистского рейха, фюрерами всех рангов были приняты чрезвычайные меры по формированию новых дивизий. Были выжаты соки из сателлитов и мобилизована вся индустрия покоренной Европы, с расчетом, что успех следующего броска на Восток поможет восстановить репутацию вермахта и не только ободрит растерявшихся союзников Гитлера, но и устранит сомнения выжидавших соседей (Турция, Швеция) и осторожность политических союзников (Япония, Испания).

И хотя наш народ напрягал все силы в тылу, бойцы самоотверженно дрались на фронте, а партизаны — за линией фронта, хотя генеральный штаб, готовясь к новому активному отпору, учитывал опыт первого года войны,— у Советской Армии все еще не было необходимого преимущества в силах и средствах ни на земле, ни в воздухе, ни на море.

Нужно ли напоминать, что именно в этот критический период союзники СССР действовали наименее эффективно, ограничиваясь посулами и восторгами по поводу стойкости нашего народа и армии.

Беспримерный героизм защитников Одессы и еще бо́льшая стойкость гарнизона Севастополя задержали продвижение правого фланга южной группы германских войск, наступавших вдоль побережья Черного моря.

И несмотря на то, что были сорваны все сроки выхода армии захватчиков к Волге и Кавказу, для защитников Северо-Кавказского направления весна начиналась очень неблагоприятно. Воспользовавшись ошибками командования Крымского фронта, немцам удалось 8 мая внезапным ударом прорвать наши боевые порядки на Керченском полуострове и к концу месяца захватить Керчь.

Теперь Крым был в руках армии Манштейна, и, помимо угрозы возможного форсирования пролива для высадки на Таманском берегу, значительно ухудшилось положение гарнизона СОР (Севастопольского оборонительного района).

Срочный вызов по поводу предложений командования фронтом и адмирала Октябрьского, остававшегося в Севастополе, привел меня в начале июня в Москву.

Уже в третий раз с начала войны мне пришлось прилетать по вызову в столицу, и время здесь неизменно протекало по своеобразному стандарту. Гостиница «Москва» — предварительный доклад тогда еще генерал-полковнику Василевскому и адмиралу Кузнецову, затем доклад в Кремле — и опять гостиница, до отъезда на аэродром с рассветом следующего дня.

Так было и в этот раз.

Гостиница «Москва» была в ту пору своеобразным штабом писателей-фронтовиков, работавших в «Правде», «Известиях» или в «Красной звезде». Затемненные, неуютные в то время номера «Москвы» нужны были этим людям только для того, чтобы созвониться с редакциями и написать в человеческих условиях то, что накопилось, наболело и что не укладывалось в листки блокнота, коробившегося на ящике из-под гранат, в блиндаже.

Почему-то тогда преобладало мнение, что военные корреспонденты пишут, обращаясь преимущественно к миллионам трудящихся, обеспечивающих фронт своей работой в тылу. Очевидно, в какой-то мере это так сначала и было. Но очень скоро оказалось, что бойцы в дотах, дзотах и в траншеях переднего края тоже с нетерпением ожидают прихода московских газет, и не из интереса к сенсационным материалам, а стремясь уяснить себе смысл исторических событий, участниками которых они являются. С другой же стороны, военные корреспонденты стремились лично видеть самые острые моменты борьбы, побывать там, где шла боевая работа, страда пехотинцев, летчиков и моряков, «побывать в их шкуре», с тем чтобы лучше понять их психологию, настроения, их волю к победе, мечты. . .

Ради достоверности каждого слова, ради возможности свидетельствовать перед всем миром правду о войне, наконец, ради морального права говорить от имени советского солдата многие из фронтовых писателей рисковали жизнью, и не всегда в тех случаях, когда этого требовал хладнокровный расчет. Нелегко ведь рассчитывать и взвешивать каждый свой шаг, находясь в горячее время в составе боевых порядков.

А ведь война только разгоралась.

И никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице «Москва», не думал, что следующий, кому предстоит дорого заплатить за стремление все увидеть и все понять, находится среди нас.

Во многом схожий со своими собратьями, особенно по целеустремленности и сознанию ответственности перед

народом, Евгений Петров казался только более порывистым и нетерпеливым.

Услышав несколько кратких рассказов об удивительных делах защитников Севастополя и об условиях, в которых приходится перебрасывать для них пополнения и вывозить раненых на миноносцах, самолетах и подводных лодках, Петров мгновенно загорелся желанием сейчас же, немедленно лететь в Краснодар. И, конечно, с тем, чтобы потом пробираться дальше, в Севастополь.

Несмотря на то, что записные книжки его были полны нереализованными замыслами в связи с последней поездкой на Северный фронт, он решил бросить все. С этого момента ему все и всё мешало, и он чуть не насильно увлек меня двумя этажами выше, в свой номер.

Здесь, с почти мальчишеской гордостью показав трофейный автомат, подаренный ему на фронте (он лежал у него в среднем ящике письменного стола), Евгений Петрович снова стал горячо убеждать взять его утром в самолет. При этом он хватал меня за плечи, обнимал, пытался угощать, клялся выполнять все ограничительные требования и, еще не добившись согласия, стал укладывать белье в маленький чемоданчик.

Наконец условились, что без командировочного предписания от Главполитуправления Петрову лететь нельзя. Насчет же поездки в Севастополь решили добиваться согласия командующего фронтом, на месте.

Так или иначе, но, преодолев или обойдя несколько препятствий, Евгений Петрович появился через сутки на аэродроме, притащив какую-то бумагу со штампом, которую он успел достать только потому, что Генеральный штаб задержал мой вылет на сутки.

Летели мы в Краснодар, через Сталинград, но о полете я ничего не помню, так как отсыпался после Москвы

и, в предвидении черноморских дел, так крепко, что даже необыкновенно оживленный спутник не мог мне помешать.

В Краснодаре, еще не осмотревшись, Евгений Петрович начал с просьбы (если не с требования!) разрешить ему отправиться в осажденную Главную базу Черноморского флота.

Нелепо сейчас говорить о каких-либо предчувствиях, тем более что погиб Петров не под Севастополем. Но вероятность такой гибели была очень велика, так как именно в этот период черноморцы потеряли подряд несколько кораблей из числа блокадопрорывателей. Поэтому вся хитрость заключалась в том, чтобы отдалить путешествие писателя в Севастополь до улучшения обстановки.

Пришлось очень скупо рассказать об общем положении в Крыму, на Тамани и в Азовском море после падения Керчи, о чем, по понятным соображениям, Совинформбюро не делало никаких сообщений.

В этот период по ряду признаков можно было ждать десанта на Таманский полуостров как из Керчи, так и из Мариуполя; знали мы и о намерении фашистской южной группы армий еще раз прорваться к Ростову и форсировать Дон.

Петрову были предложены на выбор очень интересные участки фронта, однако он настаивал на своем, пока же согласился съездить в Новороссийск, очевидно рассчитывая проскочить в Севастополь без разрешения начальства.

Сначала всем нам казалось, что настойчивость Петрова отчасти объясняется тем, что он до конца не представляет себе всех сложностей, риска и опасностей, которым подвергаются блокадопрорыватели.

Ведь в штабах и политотделах, вместо терминов «прорвался» или «форсировал с боем» можно было слышать лишь фразы: «Ташкент» возвратился из Севастополя и вывез столько-то раненых. . .» Или: «Вернулась из Главной базы «малютка №. . .», доставив туда боезапас и авиабензин. . .»

Профессиональная традиция состояла в том, чтобы избегать громких фраз, и непосвященному трудно было понять подлинное значение слова «возвратился». А если один из кораблей не возвращался из похода, то об этом вовсе не говорили с непосвященными и не сообщали в открытых сводках. Таким образом, общая картина морских коммуникаций с блокированной базой со стороны выглядела довольно спокойно.

Но когда Евгений Петрович возвратился в Краснодар из Новороссийска, где он сам видел «благополучно прорвавшиеся» корабли и подводные лодки, говорил с матросами и офицерами, настойчиво выпытывая у них все детали операций, и где, наконец, член Военсовета ЧФ И. И. Азаров разъяснил ему обстановку в самом Севастополе, предположение о недостаточной осведомленности Петрова отпало [1].

И вот тогда полностью раскрылся не только характер Петрова, но и его понимание своего профессионального долга. Информация от уцелевших людей, полученная на палубе корабля, трубы и надстройки которого были про-

---

[1] Позже это подтвердилось, когда был опубликован его очерк «Севастополь», датированный 25 июня 1942 г. Это значит, что за сутки до выхода в море на «Ташкенте» в полевой сумке (с которой он не расставался) уже лежала готовая корреспонденция об исключительно тяжелом положении Севастополя на двадцать первый день штурма, являвшаяся сводкой собранных им сведений. Причем надо помнить, что наиболее драматическую информацию Е. Петров не мог привести по цензурным условиям.

дырявлены осколками, а стволы зениток покрыты обгоревшей краской,— эти живые и образные рассказы, которые отбили бы охоту у многих поглядеть своими глазами на «прорыв блокады», еще больше укрепили желание Евгения Петровича во что бы то ни стало попасть в Севастополь.

Не хочется вспоминать последний разговор с ним перед выходом в море. Разговор был тягучим, нудным и неискренним по моей вине, так как самого серьезного довода нельзя было сказать вслух именно ему, Петрову. А он упорно добивался своего, и не столько логичностью доводов, сколько обезоруживающей искренностью. Что же касается разговора о риске, то его он вообще не принимал и, выслушивая наши предостережения, злился, так как считал, что обязан рисковать, когда это нужно для дела.

Помирились мы, только когда он дал честное слово не сходить с корабля и возвратиться обратным рейсом на нем же.

— Но ведь это означает только одну ночь? Что же я успею увидеть?

— Даже меньше. . . Всего два или три часа в Севастополе, но вы увидите все!

Только потом он понял значение этого малоубедительного посула.

Забегая вперед, надо сказать, что, по рассказам командира «Ташкента» и по заверениям самого Евгения Петровича, он сходил с корабля лишь на импровизированный причал и прилежащий край берега, где складывались выгружаемые ящики с боезапасом и стояли рядами носилки с ранеными, ожидавшими эвакуацию на Большую землю, так что данное слово он сдержал. Но «послушание» Петрова объяснялось просто — наблюдать происхо-

дящее было выгоднее всего, оставаясь на лидере и поднявшись на мостик, откуда открывалась панорама ночного штурма осажденной крепости.

Но вернемся к рассказу.

На каком именно корабле Петрову идти, нельзя было решать в Краснодаре, и это было предоставлено адмиралам И. Д. Елисееву и И. И. Азарову, непосредственно из Новороссийска руководившим операциями блокадопрорывателей и питанием Севастополя. Азаров познакомил Е. Петрова с командиром «Ташкента» капитаном третьего ранга В. Н. Ерошенко и проводил писателя на лидер.

26 июня 1942 года, в 14 часов, «Ташкент» вышел из Новороссийска, имея на борту более тысячи бойцов пополнения из состава Сибирской стрелковой бригады и до предела загруженный боезапасом и продовольствием для защитников города-героя.

За несколько часов до этого с той же целью вышел в Севастополь также перегруженный эсминец «Безупречный».

Была тихая и ясная погода, обычная для летних месяцев на Черном море.

Сам Евгений Петров в незаконченном очерке «Прорыв блокады» [1] назвал операцию «Ташкента» «образцом дерзкого прорыва», в котором так наглядно выявилась «воинская доблесть, величие и красота человеческого духа».

Здесь нет преувеличений, часто неизбежных вследствие журналистских навыков или сильных эмоций, пережитых

---

[1] «Красная звезда», 9 июля 1942 г., № 159.

самим наблюдателем. Чтобы в этом убедиться, достаточно напомнить факты, о которых по цензурным условиям не было написано в свое время.

Захватив Керченский полуостров, фашисты получили возможность разместить аэродромы своей торпедоносной и бомбардировочной авиации параллельно маршруту движения наших кораблей из Новороссийска в Севастополь. Это позволяло немцам все светлое время суток атаковать корабли, прорывающиеся в блокированную базу или возвращающиеся оттуда, причем краткость расстояния до трассы кораблей давала возможность атаковать повторно, после перезарядки машин.

Второе важное обстоятельство. С момента, когда весь плацдарм СОРа стал простреливаться фашистской осадной артиллерией, командование СОРа оказалось в тяжелейшем положении, так как летчики и самолеты гибли на земле от артиллерийского огня, не имея возможности даже подняться в воздух. В то же время советские истребители, базировавшиеся на Северном Кавказе, из-за дальности расстояния не могли прикрывать наши блокадопрорыватели дальше меридиана Керченского пролива.

Но и это еще не все.

Наши корабли должны были приходить в Севастополь в темноте и еще до рассвета уходить за пределы действия осадной авиации и артиллерии. А это позволяло фашистам предвычислять местоположение любого нашего корабля, как только он обнаруживался разведчиками. Продолжительность темного времени суток, скорость хода наших кораблей и их генеральные курсы были известны. Остальное достигалось элементарным математическим расчетом.

По всем этим причинам прорыв блокады был одним из самых тягостных испытаний для черноморцев, так как,

выходя в море в ясную погоду, они с большой степенью точности знали, когда могут быть обнаружены противником. Разведка неизменно сопровождалась атакой бомбардировщиков или торпедоносцев, затем обычно следовала небольшая пауза и повторный налет второго эшелона. При этом неравенство сил было настолько ощутительно, что атаки немецких и итальянских подводных лодок, блокирующих подходы к Севастополю, наши черноморские эсминцы презрительно почти не учитывали, хотя для транспортов и тихоходных судов они были весьма опасны.

Наконец, к моменту подхода к южным берегам Крыма, с наступлением темноты, блокадопрорыватели подвергались атакам итальянских или немецких торпедных катеров, базировавшихся на Ялту и Балаклаву.

Таковы были условия прорыва блокады, не считая громадного числа мин заграждения при подходе к берегам и артиллерийских обстрелов во время пребывания в одной из бухт осажденной базы.

«Люди точно знали, на что они идут».

Так писал Евгений Петров об экипаже лидера в начале своего рассказа о подробностях боевых действий, участником которых пришлось ему быть. И именно в этом, прежде всего, заключалось величие и смысл подвига советских людей.

Мало кто знает, что лидер «Ташкент» и эсминец «Безупречный», 21 июня прорвавшись с боем в Севастополь и возвратившись утром 23-го числа, на следующий день опять были отправлены в повторный рейс, из которого вернулись в Новороссийск к утру 25 июня. И на этот раз к числу раненых, эвакуируемых из города-героя, прибавились не только новые раненые, но и убитые из своих экипажей, так как в обоих переходах при-

шлось выдержать несколько боев с торпедоносцами и бомбардировщиками, преследовавшими корабли почти все светлое время суток.

Это значит, что прорыв 26 июня корабли начинали в третий раз в течение недели. Начинали не отдохнув, так как все время с утра 25-го до выхода на следующий день ушло на приемку топлива и зенитных патронов и лент, а также на размещение сибиряков и погрузку ящиков с боезапасом и продовольствием для осажденных. Немало усилий и часов потребовал также ремонт корпусов и механизмов, пострадавших от близких разрывов крупных бомб, от осколков и от форсирования главных машин и рулевых устройств при многократном уклонении от фашистских атак.

Вот что означала фраза: «Люди точно знали, на что они идут».

Сам Петров пока знал об этом только по рассказам, но, вероятно, эти слова были написаны при возвращении в Новороссийск. Только теперь он мог полностью понять цену той скромности и деловитости, какие были свойственны людям, точно знавшим, чтó предстояло им в очередном прорыве.

В военно-морском оперативном лексиконе есть понятие «напряжение использования сил». В очень упрощенном толковании это означает отношение числа ходовых дней (техническое напряжение) или боевых дней (оперативное напряжение) к числу дней стоянки в базах, на ремонте и отдыхе. Если взять эту относительную величину применительно к двум названным кораблям Черноморского флота для второй половины июня 1942 года, то можно засвидетельствовать, что примеров подобного боевого напряжения не знает история второй мировой войны на море. Таким образом, лаконичная оценка Петрова — «об-

разец дерзкого прорыва и высокой воинской доблести» — получает значение объективного свидетельства.

Итак, Петров испытал в эти часы все, что его друзья на «Ташкенте» испытывали дважды в неделю.

Вражеский разведчик. За ним — длительный бой с самолетами. Бомбы у борта, за кормой или перед форштевнем. Изумительное по мастерству, расчету и хладнокровию маневрирование Ерошенко, с яростью и ликованием срывавшего все усилия фашистов. Оглушающие залпы зениток, к которым сибиряки добавляют огонь своих пулеметов, раненые и убитые, — словом, все то, чем неизбежно сопровождаются подобные боевые столкновения, вплоть до «ура» в момент, когда самолеты «люфтваффе» врезываются в воду.

Дальше «по расписанию», как говорили черноморцы, спустя час или два надо было ждать второго боя. Но на этот раз «расписание» оказалось нарушенным, словно специально для того, чтобы Евгений Петрович стал участником особенно тяжелой и трагической коллизии, какие возникают только в современной войне.

Около 19 часов впереди по курсу, там, где по расчетам должен был находиться прорывающийся первым «Безупречный», Петров и его боевые товарищи заметили необычный по высоте столб дыма и пара, взметнувшийся к небу. В момент подхода к месту закончившегося только что боя эсминца уже не было на воде. В озерах мазута, среди деревянных обломков плавали немногие уцелевшие моряки и армейцы.

Естественное стремление остановиться, спустить шлюпки и попытаться спасти товарищей с «Безупречного» сразу же было парализовано новыми атаками «юнкерсов». Верные своим традициям, фашистские летчики

расстреливали беспомощных людей из пулеметов. Остановка лидера создавала крайне выгодное для немцев положение.

Трудно представить более тягостную и мучительную дилемму.

Оставаться на месте — значило спасти десять—двадцать товарищей, но почти наверняка погубить корабль, на котором было полторы тысячи человек, а также пополнение, боезапас и продовольствие для Севастополя. Маневрировать на полных ходах и крутых циркуляциях, уклоняясь от бомб и торпед,— это значило своими же винтами рубить тех, кто еще держался на воде. Но как бросить погибающих и уйти? Как сделать этот шаг, если человеческая совесть, морская традиция яростно против этого протестуют?!

И все же Ерошенко, с болью в сердце, выходит из мазутного пятна, предварительно выбросив спасательные круги и пояса и увлекая за собой часть немецких асов. Одновременно он дает радио о происшедшем, прося разрешения возвратиться к месту гибели «Безупречного» с наступлением темноты.

Разумеется, ему это запрещают.

Нетрудно представить себе, как тяжело было командованию флота давать такое приказание, но оно не могло быть иным. Спасение уцелевших отняло бы в темноте не менее двух часов, а использование прожекторов было бы в этих условиях самоубийством. Помимо того, не менее двух часов пришлось бы затратить на отход и возвращение. Безусловно, если бы лидер шел без солдат и грузов, ему было бы предписано спасти всех оставшихся в живых. Но «Ташкент» вместе с другими миноносцами, подводными лодками и транспортными самолетами помогал Севастополю держаться, сковывая в Крыму до одной трети

миллиона вермахта — те самые дивизии, которые по плану «OKW» должны были с весны маршировать к предгорьям Кавказа.

И именно потому, что погиб «Безупречный», а с ним пополнение и боезапас, не достигшие Севастополя, приход туда «Ташкента» был вдвойне необходим.

Позднее Евгений Петрович говорил мне, что все это стало ему понятно после разговора с командиром лидера, который переживал происшедшее так же тяжко, как и он. Но самые логичные и убедительные доводы не могли помочь им обоим освободиться от горького ощущения и мрачных мыслей о судьбе советских людей, расстреливаемых в воде фашистскими убийцами [1].

Оставался последний этап прорыва в Севастополь — форсирование входного фарватера, ведущего через минные заграждения. И поскольку приходилось осуществлять его в полной темноте, все внимание стоявших на мостике было сосредоточено на выполнении этой задачи.

Но судьбе было угодно обогатить запас впечатлений военного корреспондента еще одним боевым эпизодом.

На меридиане Аю-Дага «Ташкент» был атакован итальянскими торпедными катерами («MAS»), базировавшимися на Ялту. Однако этот эпизод, не менее опасный для лидера, чем атаки самолетов, не произвел сильного впечатления на Евгения Петровича. Как он потом рассказывал, его ослепил огонь пушек главного калибра, и, кроме крутых циркуляций корабля, уклоняющегося от торпед, Петров ничего не видел. Впрочем, из-за осторож-

---

[1] Часть из них была спасена подводной лодкой «М-112» (командир — старший лейтенант Хаханов), также прорывающейся в Севастополь с боезапасом и бензином. Но на «Ташкенте» об этом тогда не знали.

ности итальянцев их не видел даже Ерошенко, который маневрировал по расчету, исходя из разгаданных действий противника.

А еще через два часа (в 23 часа 15 минут) «Ташкент» стал наконец у импровизированного причала в Камышовой бухте и начал разгрузку солдат и боезапаса.

Наконец-то Петров был в Севастополе, куда он так стремился.

Теперь он получил возможность в течение нескольких часов наблюдать страшную и в то же время величественную картину генерального штурма осажденной приморской крепости, причем это был штурм последний в истории войн по своей классической форме сужающегося огненного кольца. Разрывы многих тысяч бомб, снарядов, гранат и мин и вслед за ними облака пыли и дыма, сквозь которые угадывалось движение немецких гренадеров, в подавляющем большинстве обреченных на гибель очередным «последним» приказом своего фюрера.

Только страх перед расправой и усиление армии эсэсовскими частями и полевой жандармерией позволили добиться того ожесточения, с которым лезли тогда вперед немецкие части.

Петров ожидал, что увидит только один из участков обороны СОРа, наиболее приближенный к Камышовой бухте. Но перед его глазами в темноте горело и трепетало огненное полукольцо почти всего оборонительного обвода.

Это полукольцо сейчас настолько сжалось, что почти всю оборону, весь СОР, можно было наблюдать с мостика «Ташкента» («плацдарм... оказался меньше, чем я думал»,— писал Петров).

Слитный гул сплошной канонады, временами покрываемый разрывами самых тяжелых бомб или снарядов, вскоре уже не воспринимался слухом.

Некоторое время Евгений Петрович жадно всматривался в неповторимую картину. Затем, забыв о своих корреспондентских обязанностях, он превратился в добровольца-санитара и стал помогать носить и размещать раненых севастопольцев в кубриках и отсеках лидера.

Поскольку в пределах СОРа не было ни одного не простреливаемого участка, несколько залпов 150-миллиметровых снарядов «обшарили» Камышовую бухту. Немцы знали, что здесь обычно разгружались блокадопрорыватели, однако, поскольку все работы на «Ташкенте» производились в абсолютной темноте, обстрел не причинил особого вреда.

С командующим СОРом адмиралом Октябрьским или с членом Военсовета Кулаковым Петрову увидеться не удалось. Да и вряд ли у них нашлось бы время для интервью корреспонденту или для дружеской беседы с писателем. Ведь более двухсот сорока суток, днем и ночью, армейцы, рабочие подземных мастерских вместе с жителями города, обороняли его, сделав подступы к Севастополю огромными могилами для гитлеровских дивизий. И оборона велась при недостатке пополнений, боезапаса, медикаментов, продовольствия и даже питьевой воды. Вот почему прорыв каждого корабля с Кавказа был для Севастополя важнейшим событием.

Ерошенко, зная, на что он идет, взял на корабль около 2 100 лежащих на носилках и способных передвигаться раненых, а также ожидавших эвакуации женщин и детей. Это число было выше всяких норм и возможностей, к тому же еще предстоял неизбежный бой при обратном прорыве.

Наконец во втором часу ночи на 27 июля перегруженный сверх всякой меры лидер вышел в Новороссийск.

Петров все время был с ранеными. Особенно много приходилось поить этих беспомощных людей, которым в условиях осажденной крепости нельзя было давать воды вдоволь. При этом Евгений Петрович узнал от раненых и эвакуируемых о Севастополе больше, чем мог бы увидеть сам.

Обратный прорыв протекал по «расписанию» и, к сожалению, опять при ясной погоде.

Обозленные фашисты, увидя невредимый «Ташкент» в 4 часа утра, бросили против него несколько эскадрилий, которые, последовательно сменяясь, непрерывно атаковали его с 5 до 8 часов 30 минут, сбросив за это время 336 крупных бомб.

Три с половиной часа лидер маневрировал предельными ходами, уклоняясь от прямых попаданий и в то же время стараясь продвигаться на восток.

Обязанности санитара мешали Евгению Петровичу следить за обстановкой, но он видел, что прибавляется не только число новых раненых, но есть уже и убитые осколками или близкими взрывами. Он знал, что сбито два двухмоторных самолета врага, но в то же время заметил, что «Ташкент» постепенно теряет скорость хода.

Мощные взрывы вплотную к корпусу корабля разорвали несколько швов и сделали пробоины. Еще хуже было то, что от сильных сотрясений были повреждены фундаменты котлов и машин.

Теперь в ответ на донесения командира вступил в действие механизм оказания помощи, и из Новороссийска вышли торпедные катера, эсминец «Сообразительный», спасательное судно «Юпитер» и др. Когда же лидер продвинулся в пределы радиуса действия истребителей, над

раненым «Ташкентом» появились наши самолеты. Это решило судьбу корабля, так как фашисты не рискнули вступить в драку и возвратились на крымские аэродромы.

В дальнейшем оказалось, что двойной прорыв с боем, гибель «Безупречного», Севастополь, горящий в кольце штурма, и лидер, забитый сверх меры ранеными, — это еще было не все, что суждено было испытать Петрову. Вдобавок ко всему он стал свидетелем кораблекрушения от боевых повреждений.

«Ташкент», несмотря на все усилия экипажа и работу отливных механизмов, принял через пробоины около тысячи тонн забортной воды, то есть около трети собственного водоизмещения!

Погрузившись до предела, полузатопленный, он шел малым ходом. Искусство аварийных партий поддерживало его на плаву, но как долго выдержат переборки, сказать никто не мог. Появление волны или близкое падение бомбы неизбежно привело бы к катастрофе.

Раненых и эвакуируемых перевели на эсминец и катера, но только после подхода «Юпитера» можно было (да и то без гарантий!) надеяться на благополучное возвращение в Новороссийск.

Конечно, после перевода раненых Евгению Петровичу было предложено перейти с аварийного лидера, однако он не захотел оставить своих друзей, с которыми вместе пережил так много, и наотрез отказался уйти, хотя риск налета фашистской авиации на поврежденный корабль был весьма реален. И, может быть, главную роль в этом решении сыграло то, что в одном из нижних отсеков корабля, внезапно затопленного через пробоину от близкого разрыва, осталось несколько тяжело раненных севастопольцев, спасти которых не было никакой возможности.

Петров не только дошел с ними до Новороссийска, но и проводил их на кладбище.

За полгода до начала второй мировой войны мне случайно пришлось наблюдать, как американские журналисты, обогнав таможенников и имигрантскую администрацию, брали на абордаж трансатлантический лайнер «Аквитанию» при его подходе к Нью-Йорку и как затем спешили в редакции еще до того, как «Аквитания» была установлена у пирса.

Петров, если бы он имел подобную жилку «деловитости» американских корреспондентов, безусловно перепрыгнул бы с «Ташкента» на один из торпедных катеров, которые встретили тяжело поврежденный корабль, за шестьдесят миль не доходя до базы, и выиграл бы часов шесть, чтобы послать свою первую корреспонденцию. Во всяком случае, так поступил бы любой из его зарубежных коллег.

Все, кто видел Петрова в последние часы, могут засвидетельствовать, что он не торопился в Москву, так же как не торопился на скорую руку использовать для корреспонденции ту массу наблюдений и впечатлений, которую он накопил с момента выхода в море.

Больше того. Когда, возвратившись в Краснодар, он узнал, что командование фронта отправляется в Новороссийск, чтобы поблагодарить экипаж «Ташкента», Евгений Петрович попросил взять его с собой. Ташкентцы встретили его как старого боевого друга, а ради этого право же стоило потерять двое суток.

Но, вероятно, у каждого человека, в зависимости от его физиологической конституции, есть свой предел насыщения новыми сильными впечатлениями. Переступив через этот порог, можно довести человека до истериче-

ского взрыва или до необычной апатии до тех пор, пока не восстановится запас нервной энергии. Очевидно, в последнем случае действует механизм защитного торможения, оберегающий человека от опасных перегрузок.

Вернувшись в Краснодар, Петров казался словно притихшим. Такой же обаятельный, общительный, всем интересующийся, так же щедро и всегда с юмором повествующий о своих впечатлениях, он стал чуть более тихим и молчаливым.

Конечно, такое поведение могло быть следствием физического переутомления, как считали общавшиеся с ним моряки. Всем было хорошо известно, что с момента выхода «Ташкента» из Новороссийска Евгений Петрович не заснул ни на минуту. Было известно также, что при спасении раненых и эвакуируемых на лидере корреспондент «Красной звезды» работал как санитар-доброволец; когда же начался аврал борьбы за живучесть тяжело поврежденного корабля, Евгений Петрович стал вспомогательным номером в одной из аварийных партий. Разумеется, физическое утомление давало себя знать, тем более что из-за нервного перевозбуждения он долго не мог заснуть, когда представилась такая возможность. Но он не был надломлен или травмирован настолько сильно, чтобы потерять себя.

Нет, это был все тот же Евгений Петров, но чуть менее экспансивный, чем прежде, похожий на человека, который смотрит не столько вокруг, сколько внутрь себя. Человек, увидевший новое в людях, да и в самом себе.

Ночью накануне его отлета в Москву мы несколько часов провели вместе.

Ни у кого не было охоты рассказывать ему о положении в Крыму, о котором в сводке Совинформбюро говорилось, что «на Севастопольском участке фронта про-

тивнику ценой огромных потерь удалось продвинуться вперед». Ведь Евгений Петрович был достаточно сведущ в военных делах, чтобы догадаться по смыслу этих сводок о близком финале, особенно после того, как сам побывал в Севастополе три дня назад.

Разошлись поздно.

Но когда за два часа до назначенного отлета я вышел на залитую солнцем веранду, всю увитую виноградными лозами, оказалось, что Евгений Петрович спит на тахте не раздеваясь, а кругом — на перилах, на лестнице, на стульях — лежат листки его записей. Каждый листок придавлен камушком, принесенным из сада, а рядом с изголовьем висит кожаная полевая сумка, еще темная от впитавшейся воды и с потеками морской соли.

Улетал Петров, казалось, в отличном настроении. Очевидно, три часа сна восстановили его силы. Во всяком случае, он хотел казаться бодрым и жизнерадостным.

Утро было прекрасное.

Конечно, это была слабость с моей стороны, но даже теперь, провожая его на аэродром, мне не хотелось на прощание сообщать ему более поздние и более мрачные вести о Севастополе.

Обстановка требовала моего присутствия в штабе фронта, и как только убрали дюралевую лесенку, приставленную к двери «дугласа», я поспешил уехать.

И вот около 16 часов меня вызвали к специальному телефону.

— Вы такой-то?

— Да, я!

— Вы отправили утром «дуглас» с писателем Евгением Петровым?

— Да, я!

— К сожалению, мы должны известить вас, что Петров разбился...

— Кто со мной говорит? — крикнул я, еще на что-то надеясь.

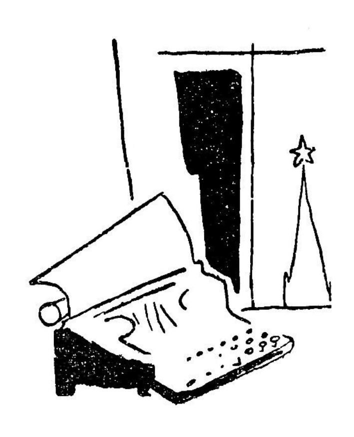
— Уполномоченный НКВД из Чертково.

Сочетание трагических событий, связанных с судьбой любимого всеми нами писателя, необыкновенно.

2 июля 1942 года, именно в те часы, когда Петров летел в Москву, фашистская авиация произвела внезапный и мощный налет бомбардировщиков на Новороссийскую военно-морскую базу. Наиболее серьезным следствием этого налета была гибель лидера «Ташкент», затонувшего у пирса, где он стоял после возвращения из Севастополя.

А еще через сутки советские граждане, бойцы на всех фронтах, наши союзники, а также враги узнали из специального сообщения «250 дней героической обороны Севастополя» о том, как пал Севастополь и как высоко партия, народ и Верховное командование оценили небывалый в истории подвиг защитников города-героя.

Немногим дано пройти через испытания, какие выпали на долю Петрова, и до конца остаться самим собой. Значительность исторических событий сначала отвлекала внимание от его трагической гибели, но очень скоро мы поняли, *кого потеряли*. И горько пожалели о том, что Петрову довелось увидеть лишь тот этап войны, когда гитлеровцы шли на восток, и только камень на могиле писателя стал свидетелем ожесточенных боев, в которых Советская Армия безудержно гнала на запад, добивая, ненавистные Петрову фашистские полчища.



ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ •

К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ИЛЬФА

Мы вместе поднимались в лифте. Ильф жил на четвертом этаже, я — на пятом, как раз над ним. Мы прощались и говорили:

— Так завтра в десять?

— Давайте лучше в одиннадцать.

— Я к вам или вы ко мне?

— Давайте лучше вы ко мне.

— Так, значит, в одиннадцать.

— Покойной ночи, Женя.

—До завтра, Илюша.

Железная дверь лифта тяжело, с дрожанием закрывалась, тряслась металлическая сетка. Я слышал, как Ильф звонил у своей двери. Лифт со скрипом поднимался еще

на один этаж. Я выходил на площадку и слышал, как внизу хлопала дверь.

Так было почти каждый день, потому что писатель должен писать, и мы с Ильфом встречались каждый день и писали. Я вспоминаю, что вначале, когда мы стали писать вместе, мы не только сочиняли каждое слово, сидя рядом или друг против друга за столом (это было вроде двух пианистов, исполняющих пьесу на двух роялях), но писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам.

Привычка думать и писать вместе была так велика, что, приступая к сочинению нашей последней книги — «Одноэтажной Америки», которую мы писали порознь, по главам, мы очень мучились. Ильф был уже болен в то время, и мы жили летом тридцать шестого года в совершенно противоположных дачных районах. Мы составили план и, так сказать, для затравки вместе написали первую главу. Потом разъехались по домам, распределив, кто какую главу будет писать. Мы решили встретиться через месяц с громадными рукописями.

Помню, что я просидел за пустым листом бумаги целый день, и целую ночь, и потом опять целый день — и не мог сочинить ни строчки. Все мешало мне — и собачий лай, и гармоника, и радио на соседней даче, и даже вороны, устроившие базар на высоких елях.

В отчаянии я поехал к Ильфу в Красково, где он снял на лето маленький домик. Там была песчаная почва и сосны, и считалось, что это подходящее место для больного туберкулезом.

Ильф очень мне обрадовался, даже как-то неестественно бурно обрадовался. Мы сразу же, как заговорщики, ушли в сад. Меня он усадил в гамак, а сам сел рядом на скамеечку.

— Знаете, Женя, — сказал он, — у меня ничего не получается.

Он снял свое маленькое голое пенсне с толстыми, толщиной в мизинец, стеклами, протер глаза костяшками пальцев, снова надел пенсне и посмотрел на меня как встрепанный.

Я сказал, что приехал к нему с такой же печальной новостью. Мы даже не рассмеялись. Дело было слишком серьезное. Мы долго думали и наконец решили, что нас обоих устрашил объем задачи и что нам следует написать всего лишь по одной главе — и тогда я приеду к нему, мы выправим рукопись, подробно обсудим следующие две главы, снова встретимся и так далее, пока не кончим книгу. Мы решили писать смело — ведь все равно потом мы вместе будем править.

Я очень волновался, когда через три дня ехал к Ильфу со своей первой в жизни самостоятельно написанной главой. Никогда я так не боялся критики, как тогда. Сначала Ильф показал мне свою главу. Пока я читал ее, он то заглядывал мне через плечо, то прохаживался по террасе, тяжело дыша. Видно, он испытывал то же чувство, что и я.

Я читал и не верил своим глазам. Глава Ильфа была написана так, как будто мы написали ее вместе. Ильф давно уже приучил меня к суровой критике и боялся и в то же время жаждал моего мнения, так же как я жаждал и боялся его суховатых, иногда злых, но совершенно точных и честных слов. Мне очень понравилось то, что он написал. Я не хотел бы ничего убавить или прибавить к написанному.

«Значит, выходит, — с ужасом думал я, — что все, что мы написали до сих пор вместе, сочинил Ильф, а я, очевидно, был лишь техническим помощником».

— Мне нравится, — сказал я, — по-моему, ничего не надо изменять.

— Вы думаете? — спросил он, не скрывая радости. — Когда я работал, мне все время казалось, что я пишу какую-то чепуху.

Я вынул из бокового кармана свою главу и хотел было сказать: «Теперь прочтите этот бред» или что-нибудь в таком же роде, но не смог произнести ни слова. Я молча протянул ему рукопись. Я всегда волнуюсь, когда чужой глаз впервые глядит на мою страницу. Но никогда, ни до, ни после, я не испытывал такого волнения, как тогда. Потому что то был не чужой глаз. И то был все-таки не мой глаз. Вероятно, подобное чувство переживает человек, когда в тяжелую для себя минуту обращается к своей совести.

Ильф долго, внимательно читал мою рукопись. Потом сказал:

— Мне нравится. По-моему, хорошо.

Как быстро разрешилось то, что нас мучило! Оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль. А стиль нельзя создать искусственно, потому что стиль — это литературное выражение пишущего человека со всеми его духовными и даже физическими особенностями. На мой взгляд, стиль — это то, что не поддается даже анализу (во всяком случае, уже после смерти Ильфа один чрезвычайно умный, острый и знающий критик проанализировал нашу «Одноэтажную Америку» в твердом убеждении, что он легко определит, кто какую главу написал, но не смог правильно определить ни одной главы). Очевидно, стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от

Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе.

Итак, книга была написана быстро и без особенных мучений в течение лета. Но зимой 36—37-го годов мы снова стали писать вместе, как писали всегда. Мы написали так большой рассказ «Тоня» и несколько фельетонов.

В начале апреля я спустился в обычное время к Ильфу. Он лежал на широкой тахте (он обычно спал на ней, а на день постельные принадлежности прятались в ящик) и читал Маяковского. На тахте и на полу лежали газеты, которые он уже просмотрел, и несколько книг. Ильф читал очень много и очень любил специальную, в особенности военную и морскую, литературу. Я помню, что, когда мы познакомились с ним (в 1923 году), он совершенно очаровал меня, необыкновенно живо и точно описав мне знаменитый Ютландский бой, о котором он вычитал в четырехтомнике Корбетта, составленном по материалам английского адмиралтейства. «Представьте себе, — говорил он, — совершенно спокойное море — был штиль — и между двумя гигантскими флотами, готовящимися уничтожить друг друга, маленькое рыбачье суденышко с повисшими парусами».

В тот день он читал Маяковского.

— Попробуйте перечитать его прозу, — сказал Ильф, поднявшись и отложив книгу, — здесь все отлично.

Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность.

Мы сели писать. Ильф выглядел худо. Он не спал почти всю ночь.

— Может быть, отложим? — спросил я.

— Нет, я разойдусь, — ответил он. — Знаете, давайте

сначала нарежем бумагу. Я давно собираюсь это сделать. Почему-то эта бумага не дает мне покоя.

Недавно кто-то подарил Ильфу добрый пуд бумаги, состоящей из огромных листов. Мы брали по листу, складывали его вдвое, разрезали ножом, потом опять складывали вдвое и опять разрезали. Сперва мы разговаривали во время этой работы (когда не хотелось писать, всякая работа была хороша). Потом увлеклись и работали молча и быстро.

— Давайте, кто скорей,— сказал Ильф.

Он как-то ловко рационализировал свою работу и резал листы с огромной скоростью. Я старался не отставать. Мы работали, не поднимая глаз. Наконец я случайно посмотрел на Ильфа и ужаснулся его бледности. Он был весь в поту и дышал тяжело и хрипло.

— Не нужно,— сказал я,— хватит.

— Нет,— ответил он с удивившим меня упрямством,— я должен обязательно до конца.

Он все-таки дорезал бумагу. Он был все так же бледен, но улыбался.

— Теперь давайте работать. Только я минутку отдохну.

Он отклонился на спинку стула и посидел так молча минут пять.

Потом мы стали писать юмористический рассказ о начальнике учреждения, ужасном бюрократе, который после волны самокритических активов решил исправиться, стать демократичным и тщетно зазывал посетителей в свой кабинет. Писать не хотелось. Писали, как говорится, голой техникой. Мы дописали до половины.

— Докончим завтра,— сказал Ильф.

Вечером мы возвращались домой после какого-то заседания. Мы молча поднялись в лифте и распрощались на площадке четвертого этажа.

— Значит, завтра в одиннадцать,— сказал Ильф.

— Завтра в одиннадцать.

Тяжелая дверь лифта закрылась. Я услышал звонок — последний звонок, вызванный рукой Ильфа. Выходя на своем этаже, я услышал, как захлопнулась дверь. В последний раз захлопнулась дверь за живым Ильфом.

Я никогда не забуду этот лифт, и эти двери, и эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью лестницы нового московского дома. Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером «25» и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь, синие подушки с кислородом. Я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что когда носят подушки с кислородом — это конец. И твердо верил, что, когда приедет знаменитый профессор, которого ждали уже часа два, он сделает что-то такое, чего не смогли сделать другие доктора, хотя по грустному виду этих докторов, с торопливой готовностью согласившихся позвать знаменитого профессора, я мог бы понять, что все пропало. И знаменитый профессор приехал, и уже в передней, не снимая шубы, сморщился, потому что услышал стоны агонизирующего человека. Он спросил, где можно вымыть руки. Никто ему не ответил. И когда он вошел в комнату, где умирал Ильф, его уже никто ни о чем не спрашивал, да и сам он не задавал вопросов. Наверно, он чувствовал себя неловко, как гость, который пришел не вовремя.

И вот наступил конец. Ильф лежал на своей тахте, вытянув руки по швам, с закрытыми глазами и очень спокойным лицом, которое вдруг, в одну минуту, стало белым. Комната была ярко освещена. Был поздний вечер. Окно было широко раскрыто, и по комнате свободно гулял холодный апрельский ветер, шевеливший листы

нарезанной Ильфом бумаги. За окном было черно и звездно.

Это случилось пять лет назад. Об этом последнем своем апреле Ильф написал в записной книжке: «Люблю красноносую весну».

Пять лет — очень короткий срок для истории. Но событий, которые произошли за эти пять лет, хватило бы ученому, чтобы написать историю века.

Я всегда думаю, что сказал бы Ильф об этих событиях, если бы был их свидетелем. Что он сказал бы и что делал теперь, во время Отечественной войны? Конечно, он делал бы то, что делаем все мы, советские люди,— жил бы для войны и победы и жил бы только войной и победой.

Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины. Когда я думаю о сущности советского человека, то есть человека совершенно новой формации, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф. Он был принципиален до щепетильности, всегда откровенно говорил то, что думает, никогда не хвастал, глубоко и свирепо ненавидел все виды искательства и подхалимства (и особенно самую противную его разновидность — литературное подхалимство). Он прекрасно знал цену дутой славы и боялся ее. Поэтому он никогда не занимался так называемым устройством литературных дел, не просил и не желал никаких литературных привилегий. Это ему принадлежит выражение: «Полюбить советскую власть — этого мало. Надо, чтобы советская власть тебя полюбила». И он смело и гордо взял на себя тяжелый и часто неблагодарный труд сатирика, расчищающего путь к нашему светлому и блестящему коммунистическому будущему, труд человека, по выражению Маяковского, вылизывающего «чахоткины плевки шершавым языком плаката».

СОДЕРЖАНИЕ

47 коп.